



Анна Берсенева

Французская жена

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=599395
Французская жена: Эксмо; М.; 2011
ISBN 978-5-699-48299-3

Аннотация

Сердце и разум – антагонисты в судьбе человеческой. Во всяком случае, в женской судьбе. Так принято думать, и так думают все, с кем жизнь сводит Марию Луговскую, в которой течет французская и русская кровь. Москва и Париж, уральская деревня и Французская Ривьера – все это слилось в ее жизни причудливым образом. Жизнь жестоко убеждает Марию, что сердцем не проживешь: ее русская любовь заканчивается крахом и разочарованием. Может быть, ей передал «ген страдания» отец, доктор Луговской, которого судьба оторвала от его русской семьи, забросив во Францию? А может быть, наоборот: мама-француженка наделила ее тем загадочным качеством, которое называется разумное сердце? Но принесет ли ей счастье такое странное сочетание?..

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	19
Глава 5	25
Глава 6	31
Глава 7	36
Глава 8	39
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Анна Берсенева Французская жена

Дорогой читатель Литрес!
Я стараюсь писать свои
книжки так, чтобы мне самой
интересно было их читать.
Пусть будет интересно и
Вам.

т. Со —————
(Анна Берсенева)

Часть первая

Глава 1

«Дальше ехать некуда. Хотя почему? Здесь все-таки квартира, кровать. А можно было не в кровати с незнакомым мужиком проснуться, а под забором где-нибудь. Так что ехать есть куда».

Сосед по кровати спал отвернувшись. Опершись локтем о подушку, Нинка перегнулась через его плечо и заглянула ему в лицо. Лицо было совершенно незнакомое.

«Интересно, что мы с ним делали, прежде чем задряхнуть?» – подумала Нинка.

Этого она тоже не помнила. Вообще ничего она не помнила! Даже как оказалась в квартире, не то что в кровати.

Кровать была какая-то допотопная – высокая, железная, с потускневшими «шишечками» на спинке. Нинка слезла с нее и, стараясь не шлепать босыми ногами по полу, направилась к двери. Удерживать направление было нелегко: ее шатало и сносило в сторону, как палый лист на асфальте. Вдобавок пол был холодный, и вообще было холодно – не топили в этом жилище, что ли? Но при таком вот пронизывающем холоде лицо у нее горело, как в тифозном жару.

«При чем здесь это? – сердито подумала Нинка. – Можно подумать, я хоть одного тифозного видела!»

Такое странное сравнение пришло ей в голову, наверное, потому, что последняя лекция, которую она посетила на истфаке, была посвящена истории Гражданской войны. Или не потому – что может быть причудливее похмельных ассоциаций? Разве что наркотические, но наркотиков Нинка не пробовала: видимо, все-таки сказывался внушенный родителями ужас перед ними.

В тесный холл выходило несколько дверей. Одна из них вела в ванную. Нинка прошлепала туда и, до отказа открутив кран, зажмурившись, сунула голову под струю холодной воды. При этом она жадно глотала воду, стекающую с ее носа и волос.

Это был верный путь к простуде.

«Ну и пусть, – мрачно подумала она. – Ну и наплевать».

Простуда, видимо, ожидала Нинку в недалеком будущем, но сейчас, в мрачном настоящем, она почувствовала себя гораздо лучше. По крайней мере, жажда была утолена, шатать перестало, и жар приугас. Щеки, правда, горели по-прежнему, но теперь уже не от похмелья, а от холодной свежести, и это было бы даже приятно, если бы хоть что-нибудь могло быть ей сейчас приятно.

Вытирать голову Нинка не стала: в том относительно ясном состоянии ума, которого она от себя так решительно добилась, пользоваться чужим полотенцем ей было уже противно. Она провела ладонями по волосам, сгоняя с них воду, как с крыши после дождя, благо стрижка у нее была короткая, и вышла из ванной.

За одной из дверей, ведущих в комнаты, был слышен богатырский храп. За другой – возня и хихиканье. Дверь в кухню была открыта. Нинка вошла в нее и огляделась.

Собственно, оглядывать здесь было нечего. Обычная кухня в обычной «хрущобе»: тесно, убого, безрадостно. Мебель не менялась с советских времен, на посудной полке в ряд были выстроены красные в белый горох банки для сыпучих продуктов, а на старой газовой плите стоял советский же закопченный чайник со свистком.

«Вот где историю изучать, – подумала Нинка. – И универа не надо».

Она зажгла огонь под чайником и забралась с ногами на обитый дерматином угловой диван, точнее сундук, дожидаясь, пока вскипит вода. Ступни были ледяные, плечи и руки тоже, вообще, вся она замерзла – на Нинке была только длинная, до колен, майка неизвестного происхождения.

Нинка даже поежилась от брезгливости. Она немедленно скинула бы с себя эту сомнительную одежду, но ничего другого, ничего своего в обозримом пространстве не наблюдалось. Откуда взялась эта непомерная майка, плечи которой болтаются на локтях, почему оказалась на ней?.. Оставалось только догадываться, но даже и догадываться об этом не хотелось.

Собственное положение представлялось ей настолько безрадостным, что не хотелось вообще ничего.

Нинка сняла с плиты засвистевший чайник и залила кипятком чайный пакетик, обнаруженный в одной из красных банок. Чай вонял веником и карамелью, пить его было неприятно, но от горячего, по крайней мере, перестала бить дрожь.

Она сидела на жестком дерматиновом сундуке, пила вонючий кипяток и смотрела перед собой пустым взглядом.

– А я думаю, куда ты подевалась.

Нинка вздрогнула от неожиданности, но не испугалась, конечно. Она вообще была не из пугливых, а тем более сейчас-то – чего бояться? Раз уж ночь провела в постели с одним из здешних обитателей, то все, что он теперь предпримет, волновать ее явно не должно.

– Тебя очень беспокоило мое отсутствие? – хмыкнула она.

– Конечно. Одежда-то на тебе моя.

Парень, предъявляющий права на майку, был, кажется, тот самый, которого Нинка пыталась опознать еще сонного. Но это не удалось ей и сейчас, когда он пробудился. Хоть убей, не могла она понять, кто он такой и видела ли она его хотя бы раз до сегодняшнего утра.

Майка, похоже, была действительно его: он был высокий, так что плечи его одежды вполне могли висеть у Нинки на локтях.

В доказательство того, что майка его, он похлопал себя по голой груди. Кстати, никакой он был не парень, а взрослый мужик – лет тридцати, а то и старше. В его фигуре не было ни юношеской тонкости, ни юношеской же угловатости и нескладности, а была грубая заматерелость. Мужик, да.

– Прямо сейчас снимать? – поинтересовалась Нинка. – Учти, я под ней голая, так что зрелище будет неприятным.

– Почему? – удивился он. – Голая женщина всегда приятна.

– Я – нет.

Он окинул Нинку быстрым оценивающим взглядом и кивнул:

– Ладно, тогда можешь не снимать.

«Хамло! – обиженно подумала Нинка. – А ты кого ожидала увидеть? Рыцаря плаща и шпаги?»

Ни плаща, ни шпаги у ее соседа по койке не наблюдалось. Хорошо, хоть джинсы натянул, мог бы и этим не утрудиться. И вообще, мужчина с некрасивым умным лицом был совсем не в ее вкусе. Мужчин Нинка с детства только умных и видела, поэтому во взрослом состоянии ей было важнее, чтобы они были красивыми. А этот красотой явно не отличался. Хотя не все ли равно? Не замуж же ей за него идти.

Пока Нинка крутила у себя в голове все эти глупости, он подошел к столу и самым наглым образом отхлебнул чай из ее чашки.

– Что это ты пьешь? – поморщился он при этом. – Освежитель из унитаза?

– Ты видел в здешнем унитазе освежитель?

– Ну так, может, ты его вынула и заварила.

– Слушай, а не пошел бы ты? – наконец рассердилась Нинка. – Если мы с тобой переспали, это еще не повод для знакомства.

– Кстати, о знакомстве. Феликс, – представился он.

Сердиться на него было так же бесполезно, как пытаться рассердить его; это Нинка сразу поняла. Она вообще была сообразительная, даже сейчас, когда голова у нее раскалывалась.

– Нина, – вздохнув, представилась она. – Хотя зачем нам знать, как друг друга зовут, не понимаю.

– Незачем, – согласился он. – Ладно, давай чего-нибудь поедем, а потом сообразим, куда тебя отсюда эвакуировать и как.

– Что значит – как? – насторожилась Нинка.

– Как – значит в чем, – объяснил Феликс. – Тебя вчера сюда доставили в чем мать родила. Правда, была на тебе косуха, но байкер, который тебя в квартиру занес, тут же ее с тебя снял и в ней отбыл.

Картина вчерашнего вечера стала потихоньку проясняться в ее сознании. Ничего хорошего такая ясность ей, впрочем, не принесла.

– Это его косуха была, – мрачно сказала Нинка. – Потому он в ней и уехал. Тоже о своей одежде позаботился. Как ты, – усмехнулась она.

– Насчет моей одежды можешь не переживать. Дарю, – усмехнулся в ответ Феликс.

Рассказывая Нинке подробности ее появления в этой квартире, он успел разогреть сковородку, которую извлек из ящика под плитой, вылил на нее подсолнечное масло, обнаруженное в шкафу, и теперь разбивал на сковородку яйца. Делал он это умело и без вдохновения. Это вызывало даже некоторое уважение: Нинка терпеть не могла мужиков, которые вдохновляются кухонными делами. Впрочем, Вольф тоже ничем таким не вдохновлялся и был мужиком до мозга костей, а вот ведь как вышло...

Феликс накрыл сковородку крышкой и уселся на табуретку перед Нинкой.

– Ты откуда? – спросил он. – Московская?

Нинка кивнула.

– Хорошо, – заметил он.

– Что хорошего?

– Домой доставить проще.

– Тебе меня домой доставлять не придется, не волнуйся, – зло хмыкнула Нинка.

– Как знаешь.

Он снял сковородку с плиты и разложил ее содержимое поровну на две тарелки.

– А если остальные твои гости проснутся? – спросила Нинка. – Всех по очереди будешь обслуживать?

От досады на себя она специально подбирала слова, которые должны были быть для него обидными, и бросала их зло и резко, как камни. Но он, похоже, руководствовался в жизни принципом «на обиженных воду возят», а потому не обратил ни на слова ее, ни на тон ни малейшего внимания.

– Всех не буду, – ответил он. – Тем более я здесь сам в гостях.

– Да? – удивилась Нинка. – А с хозяйством справляешься, как хозяин.

– Что ты называешь хозяйством? – усмехнулся он. – Ешь давай.

Аппетита у Нинки не было никакого, но она понимала, что поесть надо. Может, от этого прекратится и озноб, и тошнота, и даже головная боль.

Она жевала яичницу, которая казалась ей безвкусной, и думала, как бы осторожно выяснить, есть кто-нибудь дома или нет. Не хотелось бы сразу встретиться с родными и близкими, явившись домой босиком и в чужой майке, надетой на голое тело. И к тому же хотелось порыдать, а это, безусловно, лучше было сделать в одиночестве.

– Ты на диете? – поинтересовался Феликс.

– Почему? – не поняла Нинка.

– Без соли ешь.

– А!.. Да нет, задумалась просто.

– О чем?

– А тебе не все равно? – буркнула она. Но все же объяснила нехотя: – Как домой попасть, вот о чем. Чтобы незаметно.

– Боишься, мама с папой поругают? – усмехнулся он.

– Боюсь, мама раньше времени родит, если меня такую увидит, – сердито бросила Нинка.

– Она у тебя беременная, что ли?

– Ага. На старости лет такой вот финт. Не слабо, да?

– Старость лет – это сколько?

– Сорок два.

– Тоже мне, старость. В таком возрасте, бывает, только первого заводят.

– Никого в таком возрасте не заводят. Тем более от мужика, которого полгода знают.

– А ты байкера того, который тебя сюда в косухе занес, давно знаешь?

– Не твое дело, понял? – рассердилась Нинка. – Забирай свою майку и...

Она начала было стаскивать с себя майку, но вовремя опомнилась. Феликс издевательски расхохотался. Похоже, он относился к Нинке, как к круглой дуре.

«Ну и правильно», – с досадой подумала она.

Как еще он должен относиться к девке, которая спяну переспала с первым встречным, то есть с ним?

– Сказал же, майку дарю, – напомнил Феликс.

«Дешево отделался, – с еще большей досадой подумала Нинка. – Проститутка дороже обошлась бы».

– Телефон здесь хотя бы есть? – вздохнула она.

– Должен быть. Это ж хоть и Бирюлево-Товарная, но все-таки Москва. А зачем тебе?

– Такси вызвать. У меня же ни мобильного, ничего.

И только сказав это, Нинка поняла: «ничего» означает, что у нее нет денег. Не на такси нет, а вообще. У нее больше нет тех денег, на которые она должна была купить билет до Парижа и полгода жить во Франции...

Поняв это, Нинка похолодела. Это был удар посильнее, чем проснуться в чужой постели с незнакомым мужиком!

– Ой... – в ужасе пробормотала она. – Как же теперь?..

– Что? – догадался Феликс. – Денег на такси нет?

От потрясения у Нинки мгновенно прошла не только головная боль, но даже досада на себя и на весь мир.

– Не на такси!

Слезы брызнули у нее из глаз мгновенно, она не успела хотя бы отвернуться. Кажется, они попали Феликсу прямо в лицо. Он провел ладонью по своей потемневшей от щетины щеке и посмотрел себе на руку так, будто ожидал увидеть на ней какие-нибудь огненные борозды, что ли.

– Не на такси! – повторила Нинка. – Вообще денег нет! Я... Я их... Я их отдала-а...

И тут она разрыдалась наконец в голос, не сдерживаясь и не таясь – так, как собиралась разрыдаться только дома в одиночестве.

Впрочем, и здесь было все равно что в одиночестве – никто ей рыдать не мешал. Феликс молча сидел на табуретке, напротив через стол. Когда Нинка на секунду подняла глаза, то увидела, что он смотрит в окно и его взгляд при этом совершенно бесстрастен.

Ей стало противно. Ревет при чужом равнодушном человеке... Совсем уже! Она последний раз всхлипнула и вытерла слезы.

– Кому отдала? – спросил Феликс.

По его тону и виду было понятно, что он просто переживал, когда Нинка отрыдается и станет способна внятно отвечать на вопросы.

– Вольфу, – понуро ответила она. – Ну, байкеру тому. – И совсем уж по-дурацки объяснила: – Я его люблю... любила.

– И поэтому ему деньги надо было отдавать? Он что, альфонс?

– Нет, ты что! – воскликнула Нинка. – Просто... Ну, он меня бросил. То есть, в смысле, мы решили расстаться, – поспешно поправилась она. – А я знала, что ему нужен новый байк, потому что он старый разбил. И когда мы с ним за расставание выпивали... В общем, у меня стало такое настроение, что хотелось сделать чем хуже. Себе – чем хуже. И... В общем, я ему деньги отдала. Все, которые у меня на Францию были. Назло себе. Ну, ты этого все равно не понимаешь.

Она махнула рукой и уткнулась носом в колени, на которые был натянут подол майки.

– Почему же не понимаю? – усмехнулся Феликс.

– Потому что этого ни один нормальный человек не поймет.

– А себя ты, конечно, считаешь не нормальной, а исключительной. И очень этим гордишься.

Нинка хотела было возразить, что ни капельки она не гордится... И вдруг поняла, что он сказал правду. Она не то чтобы гордилась, конечно, а... Ну да, гордилась! Всю жизнь гордилась тем, что способна на лихие поступки.

– Байкер твой не дурак, однако, – заметил Феликс. – Ловко использовал.

– Что использовал? – не поняла Нинка.

– Да дурость твою детсадовскую. Хотя, с другой стороны, кто бы не использовал? Домашняя девочка захотела в Достоевского поиграть, пачку денег швырнуть в камин. Ну так и пусть убедится, что деньги в камине имеют обыкновение сгорать. Убедилась?

– Да... – выдавила из себя Нинка.

– И много денег было?

– На билет до Парижа. И на полгода во Франции.

– А что ты собиралась делать во Франции?

– Жить. Учиться.

– Чему?

Это было немножко странно, что он вот так вот спросил – чему? Как будто во Франции обычно учатся какому-нибудь ремеслу: класть печи или тачать сапоги.

– Просто учиться. Язык изучать в Сорбонне, – ответила Нинка. – Меня уже зачислили. По гранту.

– Понятно. Слушай, а ты не хочешь взять во Францию меня?

Нинка так удивилась, что даже перестала судорожно натягивать майку на голые колени.

– Тебя?! – Правда, она тут же взяла себя в руки и насмешливо поинтересовалась: – А за каким членом ты мне там сдался?

– Не волнуйся, ты меня там не увидишь. Вывези только.

– Что значит вывези? В качестве чемодана?

– В качестве мужа.

Он смотрел теперь не в окно, а прямо на Нинку. Лицо его совершенно изменилось. Теперь уже невозможно было сказать, что оно некрасивое. Правда, и красивым его назвать было нельзя. Оно просто вышло за пределы таких категорий – эти понятия перестали к нему относиться. Глаза у него сделались какие-то... Как у индейца, вот какие. Жгучие и жесткие. Они темно поблескивали, их взгляд пронизывал до печенок.

Сходство с индейцем на тропе войны усиливалось от того, что Феликс был до пояса голый и узкие тяжелые мускулы играли на его плечах.

Нинка даже головой тряхнула, чтобы избавиться от его взгляда.

– Ты что?.. – пробормотала она почти испуганно. – Как это – мужа?..

– Просто. – Увернуться от его взгляда ей не удалось. – Сходим сейчас в загс, распишемся и поедем во Францию вместе. Дорога за мой счет. Плюс с меня столько, сколько ты отдала своему байкеру. Ну?

Нинка все-таки сумела взять себя в руки. Что это она, в самом деле, смотрит на него как кролик на удава? Он ей никто, через пятнадцать минут, в крайности через полчаса, она сядет в такси и больше никогда его не увидит.

– В загс, значит, прямо сейчас... – старательно изображая задумчивость, проговорила она.

Он молчал.

– Прямо отсюда, значит, – добавила Нинка и выразительно посмотрела на свои голые круглые коленки, торчащие из-под вытянутой майки, потом на его плечи, тоже голые.

Он по-прежнему не произнес ни слова. Нинка почувствовала, что закипает от злости. Она спустила ноги на пол так резко, что ступни шлепнули о линолеум, и воскликнула:

– Ну так поехали! Чего уставился, как Чингачгук?

Феликс встал и молча вышел из кухни. Что это означает, было непонятно.

Вернулся он через пять минут. На нем уже был надет черный свитер. В руках он держал бесформенные джинсы, еще один свитер, тоже довольно бесформенный, и прозрачный нераспечатанный пакетик, в который, судя по идиотскому рисуночку, были упакованы трусы.

– Надевай, – коротко бросил он.

– Босиком поеду? – уточнила Нинка.

Похоже было, что они соревнуются, кто кого больше ошеломит.

– Кроссовки в коридоре выберешь.

– Что значит выберешь? – Все-таки он был в деле ошеломления бо́льшим виртуозом, чем Нинка! – Здесь что, коммуна? А зубные щетки тоже общие?

– Если хочешь, можешь взять любую.

– Спасибо! Обойдусь.

– Пойдем.

Феликс вышел из кухни. Нинка направилась за ним. Как крыса за флейтистом из Гамельна. Идиотизм какой-то!

Глава 2

Утро было сырым и темным, как глубокой осенью. И только по густой зелени деревьев было понятно, что сейчас все-таки лето. Заканчивался август.

Влажный, пронизанный изморосью воздух охладил Нинкины щеки. И, главное, голову. Дикость аферы, в которую она чуть не ввязалась, сразу представилась ей во всей своей красе. Она осторожно скосила глаза на Феликса, который вышел из подъезда вместе с нею.

«Может, он бандит? – подумала Нинка. – Квартирный аферист. Или просто домушник».

Ничего авантюрного в его внешности и особенно во взгляде, правда, не было, но мало ли!.. Мало ли воров работают на доверии. Впрочем, и в доверие к ней он втираться ведь не пробовал, сразу предложил черт знает что, и она сразу же согласилась. То есть не согласилась, а просто захотела ему досадить. И как теперь от него избавиться? Может, убежать?

Словно для того чтобы исключить такую возможность, Нинкины ступни заелозили в кроссовках, которые были ей чудовищно велики. Ясно было, что в такой обуви ни от кого ей убежать не удастся. Уж точно, что не от этого типа, не зря же она назвала его Чингачгуком. Походка у него была по-индейски пружинистая, и понятно было, что бегают он получше, чем Нинка.

– А паспорта же у меня нету! – воскликнула она.

Она страшно обрадовалась, что так вовремя вспомнила об этом. На нет и суда нет!

– Совсем? – поинтересовался Феликс.

Что ей стоило ответить «да»? Ее же вчера в чем мать родила принесли, естественно, что паспорт исчез вместе со всей одеждой. Но прежде чем Нинка сообразила, как разумен был бы такой ответ, у нее уже вырвалось гораздо менее разумное:

– Вообще-то есть. Но он дома.

– Мы за ним заедем.

Феликс подошел к машине, стоящей возле мусорных баков. Хотя Нинке было совсем не до машин, но она сразу же, как только вышла из подъезда, обратила внимание на это сооружение. Оно представляло собою диковатый гибрид старой «Волги» с чем-то совсем уж довоенным; что-то похожее Нинка видела в древних фильмах, которые любили смотреть родители. Когда-то любили.

– На этом? – спросила Нинка. – Оно что, ездит?

Не ответив, Феликс открыл перед ней дверцу, потом обошел машину и сел за руль. Похоже, хорошие манеры сочетались у него с полным безразличием к тем, кому он их демонстрировал. Хотя он вообще не был похож на человека, который стремится что-то кому-то демонстрировать... Вряд ли он даже запоминал внешность тех людей, с которыми был вот так вот машинально вежлив.

Автомобиль двинулся вперед как танк – медленно, увесисто, тяжело. Но, по крайней мере, он казался надежным.

«А странно, что я на это внимание обратила», – удивилась Нинка.

После того как она бешено гоняла на байке, вдавившись в кожаную спину бешеного от скорости Вольфа, едва ли ей стоило бояться езды даже на самом экзотическом авто.

– Где ты живешь? – спросил Феликс.

– На Патриках. В Ермолаевском переулке.

Он посмотрел на нее каким-то странным взглядом.

«Точно квартирный аферист», – подумала Нинка.

Было еще совсем рано, и утренний город стоял пустой, тихий, сумрачный. Даже пробок почти не было – от Бирюлева до Центра доехали быстро. За всю дорогу не сказали друг

другу ни слова. Нинка – от сознания собственной глупости и от страха, а Феликс – черт его знает от чего.

– Ты меня здесь подождешь? – с надеждой спросила Нинка, когда могучий рыдван остановился возле забранной решеткой арки ее двора.

Только бы домой попасть! А там она закроется на все замки и свет не будет включать трое суток, чтобы этот новоявленный жених ее не нашел.

– Вместе пойдем, – сказал он.

Нинкино сердце ухнуло в пустоту.

«Вляпалась я по самые ушки», – с тоской подумала она, но спросила при этом небрежным тоном:

– А родителей моих не стесняешься?

– Нет.

Они вошли во двор. Здесь прошла вся Нинкина жизнь. Она и в кошмарном сне не увидела бы, что этот двор, этот дом когда-нибудь будут казаться ей чужими. Но теперь это было так. Это стало так с недавних пор.

Нинка сбегала в третий подъезд, взяла у консьержки запасные ключи от квартиры. Она часто теряла ключи; консьержка к этому привыкла.

Дома никого не было. Нинка вздохнула с облегчением. Вообще-то и не должно было никого здесь быть, но мало ли – вдруг мама заехала за чем-нибудь со своим новоиспеченным супругом или отец вспомнил, что его Анжелике еще в те времена, когда она была его тайной любовницей, нравились какие-нибудь домашние бокалы, и вот теперь решил изъять их из развалившегося семейного обихода... Чудные выражи выделяет жизнь.

Феликс прошел вслед за Нинкой в ее комнату.

– Ты что, конвоировать меня будешь? – возмутилась Нинка. – Мне, между прочим, переодеться надо. В свадебное платье и фату, – съязвила она.

Он не обратил на ее язвительность ни малейшего внимания. Какая-то вещь в себе, а не человек.

– Меня можешь не стесняться, – сказал он.

– Ты гей?

– Я тебя уже видел голую.

Нинка покраснела – она подумала было, что от возмущения, но тут же поняла, что просто от смущения.

– Отвернись, – буркнула она, открывая шкаф.

Переделась она за дверцей.

– Может, хоть чаю выпьем? – проговорила Нинка, выходя из-за шкафа.

Она сама расслышала, что ее голос прозвучал жалобно.

Но отсрочки ей добиться не удалось.

– Мы уже пили, – сказал Феликс. – Бери паспорт, поехали.

Вздохнув, Нинка взяла паспорт – как назло, он валялся на ее письменном столе, на самом видном месте – и побрела в прихожую. Феликс сделал полшага в сторону и пропустил ее перед собою в дверь.

«Поручик Голицын! – сердито подумала Нинка. – Нет, ну что это со мной, а?»

Она не помнила в своей жизни ни единой ситуации, в которой подчинялась бы чужой, а не собственной воле. С самого детства не помнила! Даже когда влюблялась, как ей казалось, до безумия – в Кирилла, потом в Вольфа, – это затрагивало только ее эмоции, но не волю. И надо же такому быть, чтобы теперь, когда на влюбленность даже намек нет, она вдруг впала в такое странное, ничем не объяснимое состояние покорности судьбе. Да и какой там судьбе – незнакомому типу, вообще непонятно кому!

– Как твоя фамилия? – спросил Феликс, когда они вышли во двор.

– Демушкина, – вздохнула Нинка.

– Моя – Ларионов. До загса не забудь. Ты здесь прописана? – Нинка кивнула. – Тогда едем в Грибоедовский.

– Там очередь, – заикнулась было Нинка. – Я у одноклассника на свадьбе была – он говорил, три месяца пришлось ждать, пока распишут.

– Без Мендельсона быстрее.

Через час Нинка убедилась, что он прав. Они отстояли довольно длинную очередь на подачу заявлений, но, узнав, что торжественной регистрации не требуется, принявшая заявление дама велела им приходить прямо завтра с утра.

– А прямо сегодня нельзя? – спросил Феликс.

– Мы заявления принимаем и расписываем в разные дни, – объяснила дама и добавила с улыбкой: – Проверьте свои чувства хотя бы до завтра. Вам и так повезло: сейчас желающих мало, распишем сразу.

– Ты одна живешь? – спросил Феликс, когда они вышли из загса.

Пока стояли в очереди, пока заполняли бумаги, тучи, казавшиеся сплошными, разошлись, воздух стал наконец по-летнему ясным. Невесомые блески света летели по воде пруда, а город уже окружал бульвар своим обычным могучим шумом, в котором даже громыханье стилизованного под старину прогулочного трамвайчика казалось идиллическим.

Нинка растерянно огляделась. Она не понимала, что сделала, и не понимала, что ей делать теперь. Она украдкой покосилась на Феликса. И увидела, что выражение его лица переменилось – теперь оно было не жесткое, а какое-то тревожное и тоже почти растерянное. Это показалось ей таким удивительным, что она уставилась на него уже не украдкой, а во все глаза.

– Слушай, – сказал Феликс, – ты, я так понял, одна живешь?

– Как ты, интересно, это понял? – хмыкнула Нинка. – Квартира не тесная, почему я должна в ней одна жить?

Как только она почувствовала в нем растерянность, то в себе сразу же почувствовала уверенность. Подумаешь, гипнотизер нашелся! С ней эти штучки не пройдут!

Феликс прищурился, всмотрелся в ее лицо – для этого ему потребовалось ровно три секунды – и усмехнулся. Нинка поняла: ее самоуверенность стала ему понятна так, как если бы она объяснила ее причину словами. То ли его проницательность была чрезмерной, то ли, что более вероятно, у нее все было написано на лице, и читать эту книгу не составляло труда даже при средней проницательности.

Ей почему-то стало стыдно. Хотя – ну чего стыдиться?

– Фактически одна, – отводя взгляд, кивнула Нинка. – Мама теперь за городом живет с новым мужем. Отец... Тоже отдельно. Бабушка давно уже на дачу переехала. Я одна, – повторила она.

– Тогда я у тебя переночую, – сказал Феликс.

Растерянность, мелькнувшую было в его голосе, как ветром выдуло.

– Еще чего! – возмутилась Нинка. – Мы еще в законный брак не вступили, между прочим. И вообще, я так поняла, у нас с тобой нормальная фиктуха. Типа ради прописки.

– Прописываться я у тебя не собираюсь. Цель свою я тебе изложил.

– Дурацкая какая-то цель, – заметила Нинка. – Забронировал бы отель по Интернету, получил бы визу. Дешевле вышло бы, чем вся эта бодяга.

Феликс ее замечание проигнорировал. Кажется, он успел увериться в незначительности ее умственных способностей. И правильно, между прочим: все ее поступки, свидетелем которых он был, убеждали именно в этом.

– Ты сейчас куда? – спросил он.

– Домой, – вздохнула Нинка. – Ликвидировать последствия похмелья.

– Пиво пить?

– Я еще не алкоголик пока что. Просто поем. Может, хоть мутить перестанет.

– А еда у тебя есть? – поинтересовался он.

– А ты теперь обо мне заботиться будешь? – усмехнулась Нинка. – На правах жениха?

– Почему о тебе? О себе. Надо же мне чем-то питаться. Или ты дома сразу начнешь для меня борщ варить?

– Не начну, – заверила его Нинка. – Ни сразу, ни постепенно. Можешь закупать жратву. Готовую бери, чтоб разогреть только.

Она ожидала, что в соответствии с этим ее указанием он купит хлеб и колбасу, но Феликс остановил свое автомобильное чудище на Тверской у магазина, на котором красовалась вывеска «Домашняя еда». Судя по расположению и сияющим сквозь витринное стекло интерьерам, домашняя еда в этом заведении должна была стоять как в добром ресторане. Нинка даже и не заметила, когда этот магазин открылся, и уж тем более не пришло бы ей в голову что-то здесь покупать. Она чуть было не остановила Феликса, но вовремя опомнилась. Еще не хватало деньги его экономить! Не забыл бы обещанное отдать, а все остальное ее не касается, пусть хоть золотой унитаз приобретает.

От огромной коробки, которую он вынес из магазина, шел соблазнительный запах. Всю дорогу до дому Нинка шмыгала носом, чтобы было не слишком заметно, как она принюхивается.

«Ну а что такого вообще-то? – думала она при этом. Или, может, не думала даже, а просто успокаивала себя. – Кто сказал, что жить надо по линейке? Да у меня и все равно никогда так не получалось. Возьму и поставлю штамп, ничего особенного. Да плевать мне, как это все со стороны выглядит!»

Правда, при этом Нинка некстати вспомнила, как Феликс уличил ее в сознании собственной исключительности, и рассердилась на себя за все дурацкие мысли, которые лезли в голову.

Но авто уже въезжало в Ермолаевский переулок, уже останавливалось у решетки перед аркой, и рассуждать, как правильно и как неправильно, больше не имело смысла.

Глава 3

– Я ее раз в жизни только видела.
– Давно?
– Года два назад. Она вообще недавно обнаружилась.
– В каком смысле обнаружилась?
– Ну, объявилась. Бабушка даже не знала, что у нее в Париже сестра есть. То есть не сестра, а эта... Как называется, когда сестра по отцу?
– Сестра и называется, – пожал плечами Феликс. – Единокровная.
– Ага. Бабушкин отец в конце войны без вести пропал. Все думали, он погиб, а он, оказывается, в лагере немецком был. Ну и понял, что дома его сразу на Колыму отправят. Это бабушка так думает, что он понял, – уточнила Нинка. – Она говорит, умный он был. В общем, из лагеря его американцы освободили и обратно во Францию отправили.

– Почему обратно?

– Потому что он из Франции в СССР перед самой войной и приехал, типа эмигранты возвращаются на родину, а потом, выходит, обратно, видишь, как бывает. Короче, диковатая какая-то история, я особо не вникаю. Факт, что имеется двоюродная бабка в Париже. Одинокая, обалдела от русской родни, зовет в гости. Почему не воспользоваться, правильно?

Феликс не ответил. Его явно не интересовали Нинкины жизненные обстоятельства. Ей стало грустно. Не из-за его к ней равнодушия, конечно – его-то и не должна она была интересоваться, – а из-за того, что его равнодушие было органичной частью того, что Нинка с недавних пор чувствовала со всех сторон. Всем, кого она знала, кого любила, чью любовь чувствовала всегда, – всем было теперь не до нее.

Лампу в кухне не включали, лишь свет уличного фонаря рассеянно падал из окна. В этом неярком свете видно было только, что глаза Феликса сумрачно поблескивают, а что в его глазах, о чем он думает – это было непонятно.

– Ты у нее будешь жить? – спросил он наконец. – У этой своей бабки-тетки?

– Не-а. Может, первое время только. А потом – мерси, лучше квартиру сниму. На полученные от тебя деньги, – на всякий случай напомнила Нинка. – А то знаю я эти французские штучки – там не садись, сюда не ступай. Тем более не одна она живет, конечно.

– Ты же говорила, одна.

– Я говорила, что одинокая. А живет, наверное, с любовником.

– Почему?

– А почему нет? Не очень же еще старая. Ей лет сорок или что-то вроде.

Феликс снова замолчал. Нинкина родственница явно интересовала его еще меньше, чем сама Нинка.

– Слушай, – спросила она, – а зачем ты все-таки это затеял? В смысле, фиктивный брак. Была б я хоть гражданка Евросоюза, тогда понятно. Но я же по студенческой визе еду, у меня временный вид на жительство. Какой тебе от меня толк?

– А ты всегда живешь исключительно толково?

– Не всегда, – вздохнула Нинка. – Даже практически никогда.

Когда она полчаса назад вышла в кухню, он уже сидел вот так, как сейчас, на стуле у подоконника, и глаза его точно так же сумрачно поблескивали в тусклом свете уличного фонаря. Наверное, ему тоже не спалось.

Из-за этой общей бессонницы они и беседовали теперь так доверительно о бестолковости, которая присуща, как выяснилось, им обоим, несмотря на всю их полную и очевидную несхожесть.

– Ты в Париже был когда-нибудь? – спросила Нинка.

– Нет.

– А я только в детстве. А французский знаешь?

– В школе учил.

– А меня мама французскому учила. Ну и повезла в третьем классе на зимние каникулы в Париж. А когда тетка обнаружилась, так запилили меня, чтоб я снова во Францию поехала, типа погостить и культурки понабраться. Но сначала мне неохота было, а потом маме не до меня стало.

Уточнять, что мамины уговоры приобщаться к мировой культуре пришлись как раз на то время, когда в ушах у Нинки только и стояли слова: «С твоей уродской рожей и жирной жопой ты за парня должна зубами держаться, а не выпендриваться!» – уточнять это она не стала.

Может, Кирилл высказался тогда, уходя от нее, и грубо, но ведь честно. Взгляд на свое отражение в зеркале – глазки-изюминки, нос-картошка – и сейчас не добавлял Нинке оптимизма.

Правда, за время своей байкерской жизни с Вольфом она прилично похудела, но не помогло ведь и это, Вольф ее тоже бросил. А два случая подряд – это уже диагноз.

– Вообще-то мне в Америке больше понравилось, – тряхнув головой, чтобы избавиться от дурацких воспоминаний и мыслей, сказала Нинка. – Я с родителями три месяца жила, когда они там в командировке были. Ничего так, весело. Только я тогда еще малолетка была, классе в десятом.

– А сейчас тебе сколько? – спросил Феликс.

– Двадцать.

– Крупно, – усмехнулся он.

– А тебе? – в свою очередь поинтересовалась Нинка.

– Тридцать три.

– Типа возраст Христа?

– Я атеист.

– Ничего себе! Ты еще и коммунист, может?

– Почему коммунист?

– А почему атеист?

– Жизнь научила. Слушай, шла бы ты спать, а?

Феликс поморщился. Видно, ему все-таки надоели наконец ее дурацкие вопросы; не помогла и доверительная атмосфера их общей бессонницы.

Уходить из кухни Нинке не хотелось. Настроение и так было препоганое, а тут еще разные неприятные вехи биографии некстати вспомнились... При мысли о том, что вот сейчас она останется наедине с собой, ей становилось тошно.

– Я есть хочу, – сказала она. – Там пирог с капустой остался еще или ты доел?

– Если ты сразу весь не слопала, то остался.

Нинка открыла коробку, привезенную из «Домашней еды», и вынула оттуда остатки круглого пирога с капустой. Пирог в самом деле имел совсем не общепитовский вкус, но вообще-то она потребовала его сейчас не поэтому, а только чтобы протянуть время. Бабушка была такой виртуозной кулинаркой, и всякие домашние вкусности, включая пироги, были в доме таким обычным делом, что поразить этим Нинку было невозможно.

Пока она через силу жевала пирог, Феликс молчал. Нинка никогда не видела человека, который мог бы молчать так долго не в одиночестве. То есть она видела, конечно, как люди молчат и вдвоем, и втроем, но при этом они читали, или что-нибудь писали, или хоть телевизор смотрели. А он просто молчал, поблескивая темными глазами, и был окружен своим молчанием, как прозрачным коконом, через который пробивались лишь звуки, но никак не чувства. Правда, его молчание не угнетало, но интриговало точно.

– Когда мы в Париж поедem? – спросила Нинка, поняв, что от него слова не дождешься, а значит, сейчас ей придется все-таки уйти из кухни.

Не навязываться же ему, раз он так явно дает понять, что не нуждается в обществе своей будущей супруги.

– Ты – хоть завтра, – сказал он. – Выйдем из загса, сходим к французам, я подам на визу, деньги тебе отдам, и езжай себе прямо в аэропорт. Устраивает такая программа?

– Ты же хотел, чтобы я тебя вывезла, – хмыкнула Нинка.

С ума можно было сойти от загадочной жизни, которая происходила у него внутри, лишь изредка выплескиваясь на поверхность какими-то необъяснимыми протуберанцами!

– Я хотел, чтобы в случае чего у меня была зацепка: жена учится в Париже, желаю жить при ней, не препятствуйте моим тонким чувствам и продлевайте визу до бесконечности.

– В случае чего – до бесконечности? – насторожилась Нинка.

Может, он там героином собрался торговать! С такого станется.

– Не беспокойся, я не наркодилер.

«Мысли, что ли, читает?» – подумала она с опаской.

А вслух сказала:

– Очень надо о тебе беспокоиться! Главное, про деньги не забудь. А то мне больше взять неоткуда, иначе за тебя не пошла бы.

Это был единственный сколько-нибудь разумный резон, которым оправдывалось ее слаборазумное поведение – весь этот так называемый законный брак. То есть, конечно, можно было не поддаваться на Феликсову провокацию, а просто сказать маме, что потеряла деньги, выданные на Францию. Мама ахнула бы, расстроилась, но наверняка нашла бы еще.

Года два назад Нинка так бы и сделала. Но теперь все изменилось: денег у мамы теперь нет и в ближайшем будущем не предвидится. Не только лишних, но практически никаких, потому что она уже месяц в декрете и сколько еще не будет работать, после того как родится ее новый младенец, непонятно. То есть денег-то у мамы, конечно, предостаточно, но они ведь не ее, а ее супруга, тоже нового. При мысли о том, чтобы взять деньги у него, Нинке становилось так противно, что противнее, пожалуй, была бы лишь необходимость взять деньги у отца, который, когда она изредка ему звонила – сам он не позвонил ей со времени своего ухода ни разу, – после двух дежурных вопросов о дочкиных делах начинал рассказывать о своей Анжелике и даже зачем-то передавал ей трубку; видимо, хотел, чтобы они с Нинкой подружились.

– Про деньги не забуду, – сказал Феликс. – А зачем ты их все-таки своему байкеру отдала? Я так и не понял.

– Зачем, зачем... – буркнула Нинка. – Ни за чем! – Но все-таки объяснила нехотя: – Он сказал, что нам надо расстаться. Типа мы исчерпали интерес друг к другу, а жизнь не стоит на месте, и надо идти вперед. Ну, я и выпила с горя. А деньги, кажется, и правда в огонь швырнула. Типа мне ничего не нужно, жизнь кончена, – совсем уж смущенно добавила она. – Это на даче у одних было, там у них буржуйка – вот в нее. Из огня Вольф деньги вытащил, но я их все равно обратно у него не взяла. Рыдала там, страдала, все как положено. Тогда он меня в койку затащил, чтоб успокоилась. Полюбил и уснул. А я слегка протрезвела и одежду свою в буржуйке сожгла.

– Царевна-лягушка, – усмехнулся Феликс.

– Да нет, – шмыгнула носом Нинка. – В Василису Прекрасную, как видишь, не превратилась.

– А какого черта он тебя к Мерзляковым привез?

– К каким Мерзляковым?

– К тем, у которых ты сегодня утром проснулась.

– А!.. Понятия не имею.

– Вообще-то как раз это понятно. У них там столько народу толпится, что хоть слона голого привези, никто и внимания не обратит. Байкер твой тебя, к твоему сведению, в прихожей сгрузил и смылся.

– Да я и так знаю, что он гад, – вздохнула Нинка. – Но он... Ну, мне казалось, он меня любит.

– И что? Каждому, кто любит, надо под ноги стелиться?

– Пряма-таки каждому! – фыркнула она. – Очереди из влюбленных я что-то к себе не наблюдала.

– Меньше за этим наблюдай – будут тебе влюбленные.

– Слушай, – поколебавшись, проговорила Нинка, – а мы с тобой... Ну, когда Вольф меня в прихожей сгрузил... Мы с тобой переспали?

Все-таки он действовал на нее подавляюще. Может, потому, что был намного старше? Вот, пожалуйста, она даже не решается в его присутствии называть своими именами совершенно нормальные вещи, хотя он совсем не производит впечатления кисейной барышни.

Кажется, Феликс это понял. Ну да, он же без труда читал ее простенькие мысли.

– Нет, – сказал он. В его голосе впервые не послышалось насмешки. – Мы с тобой не переспали. Я, конечно, не рыцарь без страха и упрека, но все-таки не до такой степени. – И тут же добавил уже обычным своим тоном: – Так что не волнуйся, невинность ты не утратила. Во всяком случае, не со мной.

– Дурак! – только и смогла выпалить Нинка.

Глава 4

«Ну ско-олько можно!.. Уже полчаса чемодан никак не застегнет! Неужели все французенки такие?»

Нинка то пересаживалась с дивана на стул, то выходила в кухню, делая вид, что пьет воду, то подходила к окну – оно, как почти во всех старых парижских домах, было высокое, от пола до потолка – и сквозь растущие на узеньком балкончике цветы смотрела вниз, на заманчиво пестреющую сладостями витрину кондитерской через улицу, то разглядывала старые фотографии в антикварных рамочках, которые стояли в гостиной на чем-то вроде старинного буфета без верха.

И все это время тетушка с рассеянным видом бродила по комнате, то и дело вспоминала про очередные подарки, которые приготовила для Москвы и чуть не забыла в спешке сборов, или сетовала, что не все успела купить и теперь вот едет без такой совершенно необходимой вещи, как специальный полукруглый валик, на который кладут младенца для удобного кормления грудью...

Сначала Нинка пыталась донести до тетушкиного сознания, что сама узнала и случайно запомнила во время телефонных бесед с Москвой: что молока у мамы почти нет, так что кормить младенца грудью она сможет от силы месяц, да, может, уже и не кормит, но потом поняла, что незачем впустую сотрясать воздух.

Жизнь тети Мари проходила в таком собственном мире, что все попытки внедриться в этот мир с посторонней информацией не могли иметь успеха.

«Была бы она хоть аутистка, что ли! – сердито думала Нинка. – Тогда по крайней мере понятно: диагноз, что возьмешь. Так ведь нет, нормальная баба. Но что у нее в голове – хоть тресни, не разберешь!»

Нинка видела немало людей, поступки которых определялись самыми экзотическими побуждениями, да и сама рациональностью не отличалась. Но тетушка в самом деле ставила ее в тупик.

Она была не то чтобы иррациональна или не от мира сего – трудно, кстати, представить, чтобы человек не от мира сего устроил свой дом с таким вкусом, с каким была устроена квартира на улице Монморанси, – но при всем этом Нинка чувствовала, что тетушкино поведение подчиняется такой логике – или даже не логике, а неизвестно, как это называется, – которая обыкновенному человеку совершенно непонятна.

В первую неделю после своего приезда в Париж Нинка впадала из-за этого в некоторую оторопь, но вскоре решила, что не стоит забивать себе голову тем, что не имеет к ее жизни прямого отношения, и перестала интересоваться сложностями тетушкиного внутреннего мира.

Внешний же ее мир, вот эта самая квартира в Марэ, был так хорош и удобен, что Нинка даже жалела, что скоро придется отсюда съезжать – не век же ей жить у родственницы.

Так что она обрадовалась, узнав, что тетушка решила навестить московскую родню, повидать новорожденного родственника Митеньку, а потому просит Нинку пожить еще с месяц здесь, в ее квартире.

– Но, Нина, скажи, ты действительно не едешь сейчас в Москву из-за своей учебы? – уточнила она, перед тем как заказать билет. – Не из-за денег? Мне не хотелось бы, чтобы тебя удерживали деньги. Это действительно нетрудно мне – оплатить твою дорогу, чтобы ты могла поскорее увидеть твоего брата. Я ведь знаю, чего стоит разлука с родными и это... прикосновение сердцем. Может быть, мы с тобой все-таки поедем вместе?

Нинка не ехала в Москву, конечно, совсем не из-за учебы, это соображение никогда не играло в ее жизни никакой роли. Но объяснять тетушке подробности своего душевного

состояния, тем более такие подробности, которые Нинка и сама не очень понимала, ей совершенно не хотелось.

Поэтому она только правдоподобно пожала плечами и так же правдоподобно соврала:

– Да нет, как я сейчас поеду? Только-только занятия начались. Я лучше каникул дождусь.

К рождественским каникулам она, конечно, уже будет жить отдельно от тетушки Мари, так что обойдется без ненужных объяснений.

– Такси у подъезда, – доложила Нинка, в очередной раз выглянув в окно. – Давайте чемодан.

Тетушка надела плащ – он у нее был какой-то необыкновенный, казалось, невесомый, как какая-нибудь мантия феи цветов, что ли, – и взяла большую коробку с игрушечной железной дорогой для Данечки.

Данечка был внуком средней из трех сестер Луговских, Нелли. Ему недавно исполнилось два года, это событие торжественно отмечали на даче в Тавельцеве незадолго до Нинкиного так называемого замужества, о котором, кстати, родня не знала до сих пор.

День тогда был такой жаркий, что из-за стола, стоящего под яблоней, то и дело кто-нибудь бежал к речке, благо она протекала здесь же, по краю сада, возвращался мокрый, веселый и набрасывался на еду с новыми силами. И все жалели, что Ваня, Данькин отец, завтра уезжает в очередную экспедицию на Байкал, а какое прекрасное лето стоит, как бы хорошо всем вместе было на даче, и Оля с Германом живут ведь совсем рядом, могли бы часто приезжать, особенно когда Оля выйдет в декрет, и даже Нинка, хотя бы жары ради, почаще выбиралась бы из города, ну что ей в этом дурацком мотоциклетном чаду там сидеть...

Все казалось идиллическим в тавельцевском летнем саду, и все странности, сложности, несообразности, которыми на самом-то деле была наполнена и переполнена жизнь всех, кто сидел за этим праздничным столом – ну, кроме Даньки, может, – все это казалось неважным, даже несуществующим.

А Нинка в тот день изнывала от того, что приходится отдавать дань семейным ценностям, вместо того чтобы лететь на байке сквозь жаркий воздух, звенящий над шоссе, и чувствовать щекой горячую Вольфову спину.

– Когда закончится та еда, которая приготовлена, ты можешь пойти за продуктами на рынок, – сказала тетушка, уже стоя на пороге. – На Марш дез Анфан Руж, ты знаешь, где он находится? Надо войти с улицы Шарло. Там все свежее каждый день.

– Обязательно пойду, – кивнула Нинка.

«Еще не хватало! – подумала она при этом. – На рынок тащиться, готовить потом, да еще каждый день... Что я, ненормальная?»

Нинка просто обалдевала от французской привычки каждый день посещать рынок или десяток лавочек и покупать всего по кусочку, чтобы все было свежее. Она являлась сторонницей американской кухни: купил по дороге домой еду в коробочке из фольги, разогрел в микроволновке, из той же коробочки и съел.

Один лишь взгляд на бесчисленные, непонятного назначения штучки для готовки, которыми изобиловала тетушкина – да, насколько она уже поняла, не только тетушкина, но и любая французская кухня, – приводил Нинку в уныние.

Набор для раклетт – специальные решеточки и сковородочки, предназначенные исключительно для расплавления сыра! Разве нормальному человеку придет в голову этим пользоваться?

Нинка с энтузиазмом схватила чемодан и первой выскочила на лестницу. Лифта в доме не было, и они с тетушкой спускались с третьего этажа гуськом, потому что лестницы в восемнадцатом веке делали узкими. Нинка никогда еще не жила в такой вот сплошной исто-

рии, какой был этот дом, но, к собственному удивлению, это ее не угнетало. На улице Монморанси были, кстати, дома и постарее.

Водитель поставил чемодан и коробку в багажник. Тетушка поцеловала Нинку, окутав ее едва уловимым запахом духов. Духи у нее были какие-то странные – тревожные, как Нинке казалось. Вообще, во всем, что составляло тетушкину жизнь, по первому впечатлению очень размеренную, до скуки однообразную, Нинка почему-то чувствовала тревогу. Слишком все это было... тонко; да, именно так.

Но вдаваться в такие малопонятные размышления больше не было необходимости. Такси повернуло за угол улицы Монморанси и скрылось из виду. Еще мгновение повисел над Нинкой легкий запах духов – и все исчезло. И наступила свобода! От всех посторонних неясностей жизни.

Нинка взялась было за массивную золотистую ручку на такой же массивной зеленой подъездной двери, но вдруг поняла, что сразу возвращаться домой ей не хочется.

Париж тем и хорош, что в нем легко находятся соответствия любому настроению. А уж настроению свободы – точно.

Нинка неторопливо двинулась к площади Вогезов. Она давно уже заметила там кафе, в котором варили отличный кофе. Впрочем, кофе в Париже везде был отличный, так что можно было считать, что кафе понравилось Нинке не поэтому.

Да и не все ли равно, почему оно ей понравилось! Ей было легко и хорошо – впервые в жизни ей было не скучно, а хорошо от того, что она находится в полном одиночестве. Хороший город Париж!

Она сидела за столиком, разглядывала прохожих, пила третью чашку кофе, заедая его тоненькой, как лепесток, шоколадкой, и представляла, какой прекрасный ее ожидает месяц.

Учеба необременительна – французский-то она в детстве знала, и не все еще выветрилось у нее из головы, теперь приходится только припоминать подзабытые слова да запоминать новые, а это не так уж трудно.

Быт не угнетает нисколько – еще бы он угнетал в аристократическом квартале, где все приспособлено для жизни утонченной и приятной.

Приятеля кое-какие уже появились, потому что вместе с ней в Сорбонне изучает французский целая уйма разноплеменного народа. Конечно, общение с этими новыми приятелями самое поверхностное, но ей сейчас никакого другого и не надо.

В общем, живи не хочу. Денег, конечно, маловато – супруг мог бы и побольше выдать за счастье заключить с ней законный брак. Где он, интересно? Ни слуху о нем, ни духу. Вроде бы должен быть уже в Париже, но что-то не объявляется.

Впрочем, о супруге своем Нинка размышляла довольно безразлично. Если в первый день их стремительного знакомства Феликс еще будоражил ее воображение и отчасти уязвлял самолюбие полным своим к ней безразличием, то теперь не было и этого ощущения.

Париж отодвинул ее прошлое на какой-то очень дальний план, а как это получилось, Нинка даже не понимала. Если она и о фатальном своем любовном невезении, и даже о родительской новой жизни думает без прежней боли, то что уж ей до какого-то едва знакомого типа с его необъяснимыми авантюрами! По-настоящему замуж она же не собирается – в принципе не собирается, никогда, – так что посторонний штамп в российском паспорте, пусть и поставленный сдуру, нисколько ее не угнетает.

В сквере посередине площади Вогезов жизнь шла непринужденная и прелестная. На скамейках целовались парочки, вокруг скамеек бегали дети и собачки – как раз пришло время их дневной прогулки. Во всей своей обыденности жизнь эта была так подвижна и разнообразна, что даже завораживала. И от того, что столики кафе стояли прямо посреди тротуара, на пути у прохожих, казалось, что ты находишься в самой гуще этой жизни.

«Даже странно, – лениво размышляла Нинка. – Вроде бы в Москве уличных кафе тоже полно, но какие-то они другие. Отделенные от всего, вот какие».

Здесь кафе были настолько ни от чего не отделены, что Нинка даже не поняла, что смуглый кудрявый мальчишка лет пяти не просто пробегает мимо, а усаживается за ее стол. При этом он мгновенным движением цапнул шоколадку, лежащую на краю ее блюда, опрокинул чашку и вылил остатки Нинкиного кофе на стол.

– Жан-Люк!

Мальчишка и ухом не повел. Он мгновенно развернул и съел шоколадку, а бумажку от нее бросил в кофейную лужицу.

– Извините, – с чувством произнесла дама, поспешно снимая Жан-Люка со стула. – Позвольте, я закажу вам кофе.

– Да ладно, – махнула рукой Нинка. Вся светящаяся осенняя легкость сегодняшнего дня располагала к великодушию. – Кофе мне уже хватит. Может, ему? Он проголодался, наверное.

Она кивнула на мальчишку. Дама улыбнулась. Судя по возрасту, она приходилась бесцеремонному Жан-Люку бабушкой.

– О нет, – покачала она головой. – Он только что пообедал. Просто он невоспитанный. Вы позволите присесть?

Нинка кивнула. Дама села на соседний стул и усадила рядом с собою Жан-Люка. Он сразу же с любопытством завертел головой. В его черных блестящих глазах выражалось одно отчетливое желание: сотворить еще какую-нибудь вредность. В его внешности было что-то от негритенка; Нинка только теперь догадалась.

– Ты получишь пирожное, если будешь сидеть спокойно, – сказала дама. – И извинись перед мадемуазель...

– Нина.

– А меня зовут Луиза Фламель. Жан-Люк вам уже представлен – он мой внук. Мы рады знакомству с вами.

Жан-Люк никакой радости от знакомства не выражал, так же как и намерения извиниться. Нинка думала, что бабушкиной просьбой дело и ограничится, но мадам Фламель оказалась настойчива. Как только гарсон поменял скатерть, принял у нее заказ и отошел от стола, она сказала, глядя на внука выцветшими голубыми глазами:

– Ты разве не слышал? Я попросила тебя извиниться перед Ниной.

– Извини, – недовольно пробормотал Жан-Люк.

Видимо, желание получить пирожное оказалось в нем сильнее невоспитанности.

«Как собачка в цирке, – весело подумала Нинка. – Чего не сделаешь за кусок сахара!»

– Я в его возрасте тоже за шоколадку удавилась бы, – успокоила она мадам Фламель. – От меня все сладкое прятать приходилось, иначе я и ела бы, и ела, пока не лопнула бы, наверное.

– Да, все дети любят сладкое, – кивнула та. – У вас прекрасный французский.

Вероятно, таким вежливым образом она интересовалась, откуда ее новая знакомая прибыла в Париж.

– Я из Москвы, – сказала Нинка. – В Сорбонне французский изучаю и у тети здесь рядом живу. На улице Монморанси.

– О!.. – радостно воскликнула мадам Фламель. – Так вы племянница мадам Мари Луговской?

– Да, – удивленно кивнула Нинка.

«Деревня у них какая-то в этом Марэ», – подумала она.

– Мари говорила, что должна приехать племянница из Москвы, – объяснила Луиза Фламель. – Она так радовалась, когда выяснилось, что у нее есть родные в России. Здесь

ведь у нее была только одна родственница, в Ницце, и та дальняя, кажется, двоюродная тетя ее матери, и умерла лет пять назад. И вдруг – две родных сестры, их дети, внуки! Ведь это прекрасно, – заключила она.

– Ну да, – вяло согласилась Нинка.

Саму ее наличие родственников нисколько не вдохновляло. Парижское одиночество принесло такую неожиданную, такую будоражащую радость, что ей хотелось разобраться с этим новым чувством, а не возвращаться к старым.

Разговаривать с мадам Фламель было в общем-то не о чем. Старушка и старушка, таких в Париже называют «коксинелль» – божья коровка. Что у Нинки с ней общего?

Гарсон принес две чашки кофе – мадам Фламель все-таки заказала и для Нинки. Перед Жан-Люком он поставил стакан молока и тарелку с яблочным пирожным.

– Может быть, если бы у Жан-Люка было много родных людей, он был бы более спокойным ребенком, – со вздохом сказала мадам Фламель. – Но Полин родила его, что называется, для себя, а теперь мне кажется, что она больше не испытывает в нем потребности, пусть Бог простит мне эти слова, но это правда. Летом я забираю его к себе в Прованс и, когда возможно, навещаю его и Полин здесь. Но совсем перебраться в Париж я не могу. И в каждый новый приезд мне становится все грустнее, когда я вижу, что Жан-Люк стал еще более заброшенным ребенком. Теперь Полин, к счастью, отдала его в школу, но этого все же мало.

– В школу? – удивилась Нинка. – Он же маленький еще.

– Ему пять лет. Это школа для маленьких. Он ходит туда на три часа в день, учится рисовать и петь. И общаться со сверстниками. Но после школы он остается с мамой, и это почти все равно, что быть предоставленным самому себе. А когда Полин надо уйти и приходится приглашать к нему няню, то это настоящее мученье.

– Почему?

– Постоянные няни его не выдерживают, и поэтому каждый раз приходится приглашать новую. Обычно это студентки, которые едва умеют обращаться с детьми, тем более с такими, как Жан-Люк. Полин и сама не умеет с ним обращаться. Однажды ее даже чуть не арестовали.

– За что? – не поняла Нинка. – Что не умеет с ним обращаться?

– Конечно. Когда ему было два года, он все подряд пробовал на вкус. То крем для обуви, то зубную пасту, то что-нибудь совсем ужасное – средство для мытья окон или для туалета. И каждый раз приходилось вызывать ему амбуланс. Когда это произошло в третий раз, врачи вызвали полицию.

– Почему? – снова не поняла Нинка.

Луиза посмотрела на нее удивленно – видимо, ей казалось странным, что этого можно не понимать.

– Потому что нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра, – объяснила она. – Родители имеют обязанности и должны их выполнять. После того случая Полин стала приглашать к Жан-Люку няню, даже если ей надо было просто поработать в другой комнате.

– Кем поработать?

– Она художница. Это многое объясняет, конечно, но Жан-Люку, я думаю, от этого не легче.

Нинка покосилась на мальчишку. Не похоже было, что он сильно удручен жизнью. Сейчас он был занят тем, что отщипывал от своего пирожного кусочки и крошил их на соседний стул, на который сразу же слетелись воробьи.

Луиза Фламель рассказывала о своем домике в Провансе – кажется, в том смысле, что его нельзя надолго оставлять без присмотра. Особо не прислушиваясь, Нинка вежливо кивала, с нетерпением ожидая, когда словоохотливая дамочка наконец отстанет. Она даже

открыла было рот, чтобы соврать, что ей пора идти учиться, как вдруг какое-то движение, замеченное лишь самым краем глаза, заставило ее снова взглянуть на Жан-Люка.

На стул рядом с Жан-Люком взлетел большой рыжий кот. Судя по громким визгливым возгласам, он спрыгнул с рук дамы, сидящей за соседним столиком. Нинка заметила эту эффектную парочку, даму и кота, сразу, как только пришла в кафе; она тогда еще подумала, что кот похож на пухлую шелковую подушку.

Но теперь во всем облике кота не осталось ничего флегматичного – глаза его горели, весь он подобрался и дрожал от возбуждения... В зубах у него бился воробей. Но самое необыкновенное заключалось в том, что кот вообще-то не сидел на стуле – он висел в воздухе. Жан-Люк держал его за хвост и изо всех сил тряс.

– Боже! Жан-Люк! – воскликнула мадам Фламель.

Что выражало это восклицание, было непонятно – возмущение внуком, страх, что кот может его поцарапать?..

Прежде чем это сумела сообразить даже Нинка с ее быстрым умом, кот в руках мальчишки хрипло завопил – наконец отозвался на бесцеремонное с собой обращение. Воробей при этом вырвался у него из пасти и мгновенно исчез в кустах, растущих по краю сквера.

Жан-Люк тут же выпустил кошачий хвост и как ни в чем не бывало снова принялся за пирожное.

– Какой ужас! – ахнула хозяйка, подхватывая взъерошенного и возмущенного кота.

– Как неожиданно! – воскликнула ей в ответ мадам Фламель.

Пока дамы бурно обсуждали происшествие, Нинка с интересом смотрела на Жан-Люка.

– Ты быстро соображаешь, – сказала она. – И сразу действуешь.

Жан-Люк не ответил, только глаза его блеснули так, что Нинка засмеялась.

Все чувства этого мальчишки выражались прямо и мгновенно, в нем не было ни капли хитрости или хотя бы сдержанности. Вряд ли это было удобно для окружающих, но что привлекательно – точно.

– И вот такое может произойти в любую минуту! – расстроенно сказала Луиза Фламель, когда дама с котом покинула кафе.

– А что такого? – пожала плечами Нинка.

Мадам Фламель только вздохнула.

– Мы пойдем, – сказала она. – Пока он не разнес здесь все вдребезги. До встречи, Нина. Я думаю, по-соседски мы будем видеться часто.

Мадам Фламель с внуком шли по улице. Нинка смотрела им вслед. Когда они подошли к скверу, Жан-Люк оглянулся и неожиданно помахал ей рукой. Даже издалека было видно, как сверкнули его черные живые глаза.

Нинка засмеялась. Жизнь, частью которой был этот смуглый непоседливый парижанин, была прекрасна! Глаза Жан-Люка говорили об этом яснее, чем все слова на свете.

«Вовремя тетушка в Москву отправилась, – подумала Нинка. – Это судьба!»

Глава 5

– Я рада, Таня, что твоей семье хорошо в Тавельцеве.

– Благодаря тебе, Маша.

– Мне? Я слишком далеко от вас, – улыбнулась Мария.

– Но этот дом купила для нас ты, – напомнила Татьяна Дмитриевна. – Хотя тебе-то здесь ничего не могло быть дорого.

Конечно, это была правда: Мария не только никогда не бывала в Тавельцеве, но даже не знала о существовании этого дома, в котором прошла юность ее старшей сестры и детство средней.

Она и о сестре-то знала только о старшей, Тане; о ней рассказывал папа. А Нелли родилась уже после того, как доктор Луговской пропал без вести в последний год войны, и сообщить ему о ее рождении было некуда, и не мог он о ней рассказывать своей младшей французской дочери...

– По логике это так, – сказала Мария. – Но как только я увидела этот сад, эту веранду и особенно эти сосны, я поняла, что он был папе дорогой, этот дом. И что он должен быть дорогой для всех вас.

– Да, – кивнула Татьяна Дмитриевна. – И папе, и нам.

– Я думаю, он хотел бы, чтобы этот дом вернулся к вам. Я просто сделала то, что он и сам сделал бы для вас.

Сестры сидели на той самой открытой веранде, которая так понравилась Марии, как только она увидела этот дом три года назад. Тогда он принадлежал чужим людям, стоял заброшенный, и угадать в его унылом запустении родные и радостные черты можно было с трудом.

Теперь же радость жила в нем глубоко и ясно. Татьяна Дмитриевна и Мария чувствовали ее одинаково, хотя одна жила здесь постоянно, а другая приехала сюда сейчас впервые после того, как этот дом был куплен.

Три дня назад началось бабье лето, необыкновенно теплое, и окно на втором этаже было открыто. Из него донеслось хныканье младенца, потом ласковое воркованье: «Митюша проснулся, ах ты мой маленький!»

– Я не думала, что такое возможно, – сказала Татьяна Дмитриевна.

– Что? – не поняла Мария.

– Что Оля способна так резко переменить свою жизнь. Она всегда была... даже слишком размеренная. Она не знала в жизни ни тени горя, и слава богу, кто бы его ей пожелал. Но от этого, мне казалось, она жила в такой стоячей, в такой, знаешь, дистиллированной воде, что иногда за нее становилось даже обидно: что же, вся жизнь у нее и пройдет в таком вот однообразии? Нет, я говорила себе, что это однообразие счастья, и прекрасно, но все же...

– Я, конечно, не знала, как Оля жила раньше, со своим первым мужем, но... – проговорила Мария.

– Она жила с ним двадцать лет, – напомнила Татьяна Дмитриевна. – Как бы ни было, пусть со стороны казалось скучновато, но ведь это, считай, вся ее жизнь. Трудно было ожидать, что она захочет другой, новой. Что ей в сорок лет хватит на это воодушевления.

– ... но мне кажется, что сейчас она счастлива, – закончила свою мысль Мария. – Герман любит ее и сына. Это очень много.

– Да, немало, – усмехнулась Татьяна Дмитриевна. – И Оля его любит. Не сына, это-то само собой, а Германа, – уточнила она с некоторым удивлением. – А вот это уже, учитывая, что она знает его чуть больше года, гораздо менее понятно.

Мария засмеялась. Ей было легко в этом доме, легко с сестрой, и когда она сидела на открытой, просторной, обнесенной ажурной деревянной решеткой веранде, то жизнь казалась ясной, как воздух бабьего лета, и было ей понятно, почему их с Таней отец любил этот тавельцевский дом.

За воротами послышался гул машины.

– Легко на помине, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Явился семейство забирать. Соскучился за день!

– Он же тебе нравится, Таня, – заметила Мария.

– Ты права, стала я старая брюзга, – улыбнулась Татьяна Дмитриевна. И добавила почти смущенно: – Понимаешь... К Андрею-то Оля ровно относилась, спокойно. То есть она, конечно, была уверена, что это вот и есть любовь, но чувствовалось же, что она не по уши в него погружена. А теперь – ты глянь только.

Мария обернулась и посмотрела вверх, куда кивком указала сестра. У открытого окна второго этажа стояла Ольга. Не надо было долго вглядываться в ее лицо, чтобы понять, что означает сиянье, которым оно озарено, и не озарено даже, а подсвечено изнутри.

Ольга смотрела, как Герман открывает калитку и идет по аллее к дому.

– Да, – сказала Мария. – Это даже я вижу и сразу понимаю.

– Ты! – хмыкнула Таня. – Ладно бы я удивлялась – меня уже старость обязывает ничего такого не понимать. А ты-то у нас, считай, дитя, Олина ровесница.

– Я на полгода старше Оли, – улыбнулась Мария.

– Это что-то значит разве только в детском саду. Уже в школе становится все равно.

Ольгин муж поднялся на веранду.

– Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна и Маша, – сказал он.

Приветствие прозвучало рассеянno. И таким же рассеянным был взгляд, которым Герман скользнул по лицам родственниц. Спустя мгновение он уже снова смотрел только вверх, на окно, у которого стояла Ольга.

– Здравствуйте, Герман Тимофеевич. – Во взгляде Татьяны Дмитриевны изумление смешивалось с восхищением. – Что ж вы так долго не едете? Жена ваша уж все глаза проглядела в светелке.

Взгляд, который Герман перевел на тещу, стал более осмысленным. Потом он рассмеялся.

– Татьяна Дмитриевна! – сказал Герман. – Ну что поделаешь? Надо же хоть когда-то в жизни выглядеть наконец идиотом.

– Надо, – согласилась Татьяна Дмитриевна. – Вам обоим это отлично удастся.

– Я раньше тоже иронизировал, – усмехнулся Герман. – Пока сам с этим не столкнулся.

– А вы знаете, что беседуете как блаженные? – спросила Ольга из окна, перегнувшись через подоконник.

– Мы и есть блаженные, – ответил Герман. – Я, во всяком случае.

– Я сейчас к тебе спущусь, – сказала Ольга.

И по тону, и по смыслу ее слов было похоже, что к этому заговору блаженства она присоединяется с удовольствием.

– Не надо. Я к тебе поднимусь.

Герман исчез за дверью дома. Ольга отступила в глубь комнаты и притворила окно.

– Вот так вот, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Зря мы его с ужином ждали. Только ты напрасно проголодалась, Маша, а ему все равно.

– А вот и не зря вы ждали, – послышалось вдруг. – Я, например, голодный как волк. Так что большое спасибо вам скажу, если вы бедного путешественника накормите. Здравствуйте.

Эти слова донеслись из-за куста черноплодной рябины. Теперь, в октябре, она полыхала багровыми листьями так, что напоминала неопалимую купину. Может быть, поэтому явление из-за нее человека выглядело очень эффектно.

– Это вы путешественник? Христофор Колумб? – поинтересовалась Татьяна Дмитриевна, изучающе оглядывая неожиданного гостя.

– Нет, я посуху прибыл. Из Сибири.

– Уже интересно! А почему к нам?

– Да вообще-то я к Герману Тимофеевичу в клинику прибыл, – объяснил гость.

Мария едва сдержала улыбку. Учítывая, что Герман ветеринарный врач, визит человека в его клинику выглядит странновато. Впрочем, может быть, он коллега Германа и приехал в командировку.

– Что ж, проходите, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Накормить путника – святое дело.

Пока она накрывала скатертью стол на веранде, Мария принялась носить из дому тарелки и столовые приборы, заодно разогревая жаркое, которое давно уже остыло, и перекладывая сметану из банки в глиняную мисочку.

Сметану, как и молоко, и яйца брали в ближней деревне. Всем этим – свежими продуктами, едой на воздухе – тавельцевская жизнь была похожа на провинциальную французскую, Марии привычную.

Жаркое наконец разгорелось. Мария переложила его из чугунка в глубокое обливное блюдо.

– Позвольте вам помочь, – услышала она. – А то, знаете, что-то мне не по себе стало.

Сибирский гость стоял в дверях кухни и смотрел на Марию слегка виноватым взглядом. Глаза у него были карие, крупные и блестящие, как свежеччищенные конские каштаны, от этого его взгляд тоже казался немножко конским, а потому чрезвычайно трогательным.

– Не по себе, но почему? – удивилась она.

– Ну как же? Явился не пойми кто не пойми откуда – и здрасте, сразу есть ему подавай. Меня, кстати, Геннадием зовут.

– Мария. Но это ничего плохого, что вы сразу будете есть, ведь вы голодны.

– Как вы говорите красиво, – с некоторым удивлением заметил он.

– Красиво? Я думаю, скорее не очень правильно.

– Почему?

– Потому что я французская сестра.

– А!.. Ну да.

Вряд ли он что-то понял из ее объяснения, но улыбнулся. Улыбка делала еще отчетливее обаяние, которым дышал весь его крупный облик. Да, он был очень крупный – не толстый, нет, а какой-то массивный.

Он взял у Марии из рук тяжелое блюдо, со стола – миску со сметаной и легко, без малейшего усилия, понес все это на веранду. Она пошла за ним. Из-за его широких плеч не видно было дверного проема.

– Давайте садиться, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Молодоженов ожидать дело пустое, недолго и ноги с голоду протянуть.

Она вынула из большой плетеной корзины бутылку вина и протянула Геннадию. Оказавшись у него в руках, литровая бутылка стала похожа на детскую бутылочку, из которой поили Митю.

– Что ж, за знакомство, – сказала Татьяна Дмитриевна, когда сели за стол и Геннадий разлил вино по бокалам.

– Я вообще-то и не представился еще, – сказал он. – Ну, давайте выпьем – потом.

Выпили. Мария положила всем жаркое.

– Я к Герману Тимофеевичу медведя привез, – объяснил Геннадий, кладя себе на колени большую белую салфетку.

– Вы зверолов? – поинтересовалась Татьяна Дмитриевна.

– Да нет. И медведь-то не медведь еще, а так, медвежонок. Подросток. Его охотники подстрелили маленько, а потом пожалели, не добились.

– Ужасно! – поежилась Мария.

– Что не добились?

– Что стреляли в маленького медведя. Впрочем, хотя бы и в большого.

– В больших-то как же не стрелять? Лето жаркое было, еды в тайге нету, они и бродят по деревням. Да и на городские окраины выходят, в мусорных баках роются. То ли еще зимой будет! Жиру не нагуляют, в спячку не уйдут – наплачемся с ними. Ну вот, у нас-то в Иркутске медведя этого девать некуда, живой он никому не нужен. А тут договорились, чтоб в цирк его – сообразительный он вроде, готовый артист. Только подлечить сначала надо. Связались через Фонд дикой природы с зятем вашим – он взялся. А в Москву везти оказалось некому, вот меня и попросили. Так что путешествие мое объясняется просто.

Почему везти медведя в Москву попросили именно Геннадия, было все-таки непонятно. Но для того, чтобы вместе поужинать, знать это было в общем-то и не обязательно. Он был легок в общении, и Мария полагала, что этого вполне достаточно. Взглянув на сестру, она поняла, что та считает ровно так же.

Герман и Ольга спустились наконец на веранду. Их лица дышали волнением и счастьем.

– Садитесь, – сказала Татьяна Дмитриевна. – Пока жаркое опять не остыло.

– Мы не будем ужинать, мама. – Ольга улыбнулась непонятно чему. Впрочем, состояние блаженства, в котором она постоянно пребывала, и не предполагало никаких объяснений. – Митя уснул – мы поедем к себе.

– Как знаете, – пожала плечами Татьяна Дмитриевна. – Может, хоть вы поужинаете, Герман Тимофеевич? Оля ведь целый день здесь, дома у вас наверняка есть нечего.

– Спасибо, – сказал Герман.

– Спасибо – да или спасибо – нет? – усмехнулась теща.

– Спасибо, что предложили. – Он снова посмотрел на жену и спросил: – Я несусь Митю?

Ольгины необычные, непонятно какого цвета – сиреневые, что ли? – глаза ярко блистали, едва лишь их коснулся его взгляд.

– Да, – сказала она. И зачем-то повторила: – Да, – но уже с совсем другой интонацией.

Вероятно, эта интонация что-то значила для них, между ними – Герман переменялся в лице, когда она произнесла это коротенькое слово.

«Он никогда раньше не был счастлив, – смущенно отводя взгляд от его переменявшегося, побледневшего лица, подумала Мария. – Ему, вероятно, лет пятьдесят, а он впервые счастлив. Как это прекрасно и как грустно!»

Она не знала, чего больше в том, что так явственно, у всех на глазах переживает сейчас этот сдержанный, суховатый на вид мужчина. Красота его чувств была равна их трепетности и тревоге.

Герман ушел в дом. Слышно было, как он поднимается по лестнице вверх, за сыном. Ольга секунду прислушивалась к звуку его шагов, а потом ушла вслед за ним. Она не хотела проводить без него ни одной минуты, которую можно было провести с ним; это было так понятно, как если бы она сказала об этом вслух.

– Сомнамбулы, – вздохнула Татьяна Дмитриевна. – Как они за младенцем присматривают, не понимаю. Хотя вообще-то у таких вот влюбленных сомнамбул это каким-то загадочным образом неплохо выходит. Взять хоть Северину – то же самое. И стихи вдобавок.

Севериной звали юную жену Ивана, сына средней сестры Нелли. Сама Нелли недавно переехала в Иерусалим к Иванову отцу, с которым рассталась в первой своей молодости, – тогда думалось, что навсегда, но жизнь рассудила теперь иначе.

Узнав о Неллином отъезде, Мария подумала, что в характере всех Луговских таятся самые разные непредсказуемости. Взять хоть Олю, хоть Нелли, да хоть бы и Таню, родившую когда-то дочь от мужчины, который был ее неудавшейся первой любовью.

Исключением явно была только она, французская сестра. От остальных представителей фамилии, при всей их надежности и основательности, можно было ожидать чего угодно.

Таким вот непредсказуемым виражом жизни Ивана как раз и была Северина. Как мог мужчина, на которого заглядывались все женщины без исключения, объехавший весь мир, обладающий редчайшей в этом мире профессией – Иван был океанологом, – в тридцать пять лет влюбиться в восемнадцатилетнюю детдомовскую девочку, неказистую, похожую на блеклого лесного эльфа, вдобавок пишущую непонятные стихи, вдобавок жившую в каком-то захолустье, – этого не понимал никто из его коллег и друзей.

Правда, семейство Луговских восприняло Иванов выбор как должное, потому что его результатом явился обожаемый всеми Данечка.

Двухлетний Данечка в сопровождении родителей отбыл три дня назад в Иерусалим, в гости к бабушке и дедушке, и теперь Татьяна Дмитриевна вела с Нелли ежедневные вдохновенные беседы по телефону о том, что «этот изумительный ребенок – вылитый дедушка, ты себе просто не представляешь, Таня, до чего они похожи!».

– Надолго вы в Москву? – спросила Татьяна Дмитриевна, поворачиваясь к Геннадию.

– Как получится, – пожал он плечами. – Конкретных планов нету. Похожу, погляжу столицу. Я тут лет десять назад последний раз был. Помню, впечатлился тогда. Вот, хочу восстановить впечатления.

– Ты тоже нуждаешься в московских впечатлениях. – Татьяна Дмитриевна посмотрела на Марию. – А мы тебя в деревне здесь держим.

– Что ты, Таня, – улыбнулась Мария. – Я видела очень многое в Москве, ведь Ваня возил меня и все мне показывал. И потом, мне так хорошо с вами, что у меня совсем нет скуки в Тавельцеве. И потом, я ведь и сама много времени провожу в своей деревне, значит, мне нравится деревенская жизнь.

Своей деревней Мария называла городок Кань-сюр-Мер на Французской Ривьере, где она обычно проводила лето и осень.

Старый дом в Кань-сюр-Мер принадлежал родителям ее мамы. Ощущение ровного и свободного одиночества, которое Мария так любила, знакомо встречало ее там в каждый приезд.

– Да, у тебя в деревне хорошо, – кивнула Татьяна Дмитриевна. – Мне даже уезжать не хотелось. На Ривьере и мое ведь детство прошло, – объяснила она Геннадию, который слушал ее с явным интересом. – Только за тридцать лет до Машиного. Папа в тридцать втором году получил место в Ницце. И вот мы с ним и с мамой моей – у нас с Машей мамы разные – весь Лазурный Берег тогда пешком обошли, и до сих пор у меня все это в памяти стоит яснее, чем многие скучные подробности моей взрослой жизни.

– Если хотите, можем вместе по Москве погулять. – Геннадий посмотрел на Марию. В его каштановых глазах светилась доброжелательность. – Я, конечно, мало что тут знаю, но ориентируюсь вообще-то везде хорошо. Что захотим, все найдем.

– Спасибо, – улыбнулась Мария. – Я с удовольствием прогуляюсь с вами по Москве.

Татьяна Дмитриевна взглянула на нее с легким удивлением, но тут в дверях показались Ольга и Герман со спящим Митей на руках, и она ушла провожать их к воротам.

– Вы правда не против со мной Москву посмотреть? – спросил Геннадий.

– Но зачем я стала бы говорить неправду? – удивилась Мария.

– Тогда скажите свой телефон, ладно? Я позвоню, и договоримся. Я прямо завтра позвоню, – с детской какой-то поспешностью добавил он. – Устроюсь только – и сразу.

– Вы еще не знаете, где будете жить? – уточнила Мария.

– Это я разберусь, не беспокойтесь. Говорите, я записываю.

Он достал из кармана телефон, записал номер, который она ему продиктовала. Номер был парижский – сообщать всем, кто мог ей позвонить, что у нее некоторое время будет московская телефонная карта, Мария находила слишком хлопотным.

– До звонка, – сказал Геннадий. – Я тоже пойду. Герман Тимофеевич меня до электрички обещал подбросить.

Он пошел по аллее к воротам. Мария смотрела ему вслед. Он шел чуть вразвалочку, как моряк. Или как охотник? Может, он правда охотник и именно так ходит по тайге? Смотреть, как он идет, было приятно.

У самых ворот Геннадий обернулся. Он не помахал рукой, не произнес ни слова – просто остановился и посмотрел на Марию. Даже издали видны были его блестящие конские глаза. Впрочем, может быть, ей это просто показалось.

Глава 6

– Теряюсь я с вами, Марья Дмитриевна. Теряюсь и робею.

Гена подал ей руку, и они спустились по лесенке к самой воде Патриарших.

– Но почему? – спросила Мария. – Может быть, вам не надо называть меня по отчеству? Вероятно, это вас и смущает. А мне это, уверяю вас, совсем не нужно. Я к такой торжественности не привыкла.

– Да я-то привык. – Улыбка у него была открытая и такая же обаятельная, как взгляд. – Я же валенок сибирский. У нас не принято взрослого человека без отчества звать, неуважительно это. А теряюсь я с вами не потому.

– Но почему же?

– Человек вы особо тонкий. Поневоле подумаешь: то ли я сказанул, обидел, может?

– Вы ничем меня не обидели, – улыбнулась Мария. – Оставьте эти мысли, Гена. Мне очень легко разговаривать с вами и видеть с вами вместе Москву. Знаете, я приезжаю уже в третий раз, но только теперь мне кажется, что я начинаю немножко привыкать к ней. Папа рассказывал мне о Москве, но увидеть самой, конечно, совсем другое.

– Это да, – согласился Гена. – Я вот, например, от Москвы тоже робею, почти как от вас. Как-то вроде бы суетиться начинаю, сам замечаю даже. Но нравится она мне, Москва! Размах, свобода. Кажется, все у тебя получится. Конечно, иллюзия это.

– Но почему же иллюзия?

– А что я такого уж особенного могу, если вдуматься? Что и все. И у всех, наверное, голова кружится, когда первый раз в Москву попадают. А потом максимум что у большинства выходит – охранниками устроиться.

– Да, в Москве как-то много охранников, – согласилась Мария. – Мне это странно. Где только есть какая-нибудь дверь, там сидит возле нее взрослый мужчина или даже молодой. Но что же он думает о своем будущем?

– О будущем у нас вообще мало кто думает, – усмехнулся Гена. – Не привыкли.

– Почему?

– Такая жизнь была. Да и теперь осталась.

– Извините.

– За что? – удивился он.

– Я не должна оценивать здешнюю жизнь. Ведь я ее совсем не знаю. И вообще, оценивать человеческую жизнь со стороны – это очень холодно и нехорошо. Это можно только сердцем делать, я думаю.

Гена засмеялся.

– Так ведь, Марья Дмитриевна, никакого сердца не хватит, – сказал он. – На всех-то! Говорю же, тонкий вы человек. Не устали?

– От чего? – не поняла Мария. – От того, что тонкий человек?

– Что с утра с самого гуляем. У меня и то ноги уже гудят, представляю, как у вас.

– Нет, ничего, – покачала головой Мария. – Я люблю ходить пешком. Наверное, это у нас семейное. Таня тоже любила, когда была моложе. И Нелли, средняя наша сестра, говорит, что они с мужем уже половину Израиля пешком обошли. Но мне кажется странным гулять одной, и я рада, что вы составили мне компанию.

– Да, хорошая у вас семья, – сказал Гена. – А пирожки у Татьяны Дмитриевны – это что-то! Ешь, и прямо в душу они катятся, ей-богу.

– Пирожки я, к сожалению, не умею, – улыбнулась Мария. – Но это было бы и глупо, печь пирожки для себя одной.

– А вы не замужем?

– Нет. Никогда не была.

– Что так? – удивился Гена. И тут же добавил: – Извините, конечно.

– Вам незачем извиняться. Здесь нет ничего болезненного. Мне не хотелось замуж, и я не выходила. Я всегда воспринимала это спокойно.

Мария чуть не сказала, что просто прислушивалась к своему сердцу и разуму, но все-таки не стала об этом говорить. К чему сообщать такие подробности совершенно постороннему человеку, случайному спутнику по городской прогулке?

«Почему мне вообще пришло в голову говорить с ним о своем одиночестве? – недоуменно подумала она. – Это так странно!»

Мария всегда чувствовала вокруг себя что-то вроде линии, проведенной замкнуто, завершено. Жизнь ли так распорядилась помимо ее воли, сама ли она так для себя решила, неизвестно, но линия эта была вокруг нее всегда. Вот только никогда Марии не приходило в голову делиться с кем бы то ни было этим своим странным ощущением.

Она подняла голову и посмотрела на Гену недоуменным взглядом.

Его встречный взгляд был полон спокойной доброжелательности, которая так расположила ее к нему с первой же минуты знакомства.

– Может, пообедаем? – предложил он. – Вы не смущайтесь, скажите. А то, знаете... – Он улыбнулся своей прекрасной широкой улыбкой. – Мне ведь самому неловко предлагать. Подумайте: вот обжора, ни прогулки ему не надо, ничего!

Мария засмеялась. Недоумение исчезло, как будто и не было его.

«Какой чудесный человек!» – подумала она.

А вслух сказала весело:

– Гена, я ужасно голодна. Кажется, я съела бы сейчас даже ту ужасную сосиску с кетчупом, которую мы видели, когда шли к Патриаршим.

– Сосиской-то незачем травиться, – сказал он. – А вот за углом я кафе видел – можно туда.

– За углом – это в Ермолаевском переулке? – уточнила Мария.

– Я название не знаю. Вон там.

Он указал рукой.

– Да, это Ермолаевский, – сказала Мария. – Там все и жили до войны – мой папа, его первая жена и Таня. В том доме, где арка с решетчатыми воротами, вы видите?

– А теперь там что? – с интересом спросил Гена.

– Теперь та же квартира, но в ней редко кто-нибудь бывает. Потому что Таня живет в Тавельцеве, Оля с Германом – в его доме, это совсем рядом с Тавельцевом, в Денежкино. А Олина дочь Нина сейчас у меня в Париже.

– Разбросала вас жизнь. – Гена pokrutil головой. – Так судьба закрутила – с ходу и не разберешь, что к чему.

– Возможно, со стороны это выглядит сложным, – сказала Мария. – Но когда жизнь происходит, то есть просто течет, тогда все кажется естественным.

– Пойдемте, Марья Дмитриевна. – Гена согнул руку бубликом. – Вы, я смотрю, побледнели даже. Проголодались, так ведь?

– Так! – Мария просунула свою руку в этот бублик и снова засмеялась. Она никогда, даже, наверное, в детстве не смеялась так много и беспечно. – Я могу сейчас съесть... съесть...

– Слона? – подсказал Гена.

– Нет, слона нет, это просто невозможно представить, как я стала бы есть слона. Но огромную тарелку какого-нибудь салата – точно.

В маленьком кафе на углу Ермолаевского переуллка слона, конечно, не было. И людей почти не было – стояла тишина.

– Наверное, это дорогое кафе, – заметила Мария.

– Почему вы так решили?

– Потому что в обеденное время здесь мало людей. И совсем нет молодежи. В Париже молодежи нет в тех кафе, где дорого.

– Ну, тут-то не Париж, – усмехнулся Гена. – У нас молодежь гуляет не по-детски. Тем более в Москве. Москва, Марья Дмитриевна, она ведь у всей России под горой – отовсюду в нее деньги катятся.

Они сели за столик у окна. Пруд был виден ясно, воздух дрожал над ним осенним золотом. Наверное, от этого Марии казалось, что душа ее дрожит и трепещет тоже. Да, конечно, от этого.

– Осень в Москве так же хороша, как в Париже, – сказала она, переводя взгляд на Гену. И тут же смутилась: – Я стала говорить банальности.

– Вас можно сутки напролет слушать.

Выбрали куриную лапшу, картошку с грибами; меню в этом кафе оказалось домашнее. Когда Мария сказала об этом, Гена кивнул:

– Да, надо было поинтереснее поискать. Домашнюю-то лапшу вам и сестра готовит, наверное.

Мария об этом не думала, но то, что он, оказывается, не просто зашел в кафе, потому что захотел есть, но думал о том, чтобы доставить ей удовольствие, показалось приятным. И не просто приятным – она снова почувствовала что-то вроде смущения.

Это было странно. Мария давно уже заметила главную разницу между отношением французских и русских женщин к тому, что мужчины оказывают им внимание. Когда Таня гостила у нее в Париже, они даже обсуждали эту разницу.

Если в глазах француженок внимание мужчин выглядело безусловно приятным, но в общем-то естественным, то русских женщин оно буквально потрясало. Создавалось впечатление, будто все они сознают в себе какую-то необъяснимую неполноценность, а потому не ожидают, что могут кому-то понравиться.

Те же из русских женщин, которые подобной неполноценности в себе не признавали – Мария знала многих в русском Париже и могла об этом судить, – производили неприятное впечатление своей демонстративной самоуверенностью, за которой тоже угадывалось что-то ущербное.

Но в себе Мария этой русской странности не чувствовала никогда. Мужчины обращали на нее внимание часто, и это казалось ей естественным. Когда она оценивала свою внешность словно бы сторонним взглядом, то понимала: красавицей она считаться, разумеется, не может, хотя бы потому, что в ней нет ничего яркого, но утонченность ее черт, скорее всего, привлекательна.

К тому же мама была права, когда говорила, что у Мари врожденное чувство стиля, а потому мужчинам приятно находиться в ее обществе.

В общем, удивляться тому, что мужчина смотрит на нее смущенным и восхищенным взглядом, ей не приходилось ни в молодости, ни в зрелые годы.

И вдруг вот сейчас, сидя у окошка, за которым сияет гладь московского пруда, она то и дело отводит взгляд от карих Гениных глаз и при этом сознает, что ей хочется смотреть в них снова и снова... А от чего такая странность, непонятно.

Они пообедали почти в молчании. Перебрасывались лишь незначительными фразами, какими перебрасываются люди, случайно оказавшиеся за одним столом и познакоmintившиеся непосредственно за обедом. Но при этом Мария не чувствовала случайности ни в чем, что с нею сейчас происходило, и не понимала, почему не находит слов, чтобы сказать об этом Гене.

В отличие от еды, кофе оказался безвкусным.

– Кажется, в Москве вообще нет хорошего кофе, – сказала Мария. – Я еще в прошлый раз это заметила и поэтому купила его теперь в Париже. И, представьте, забыла в московской квартире! Это было в тот день, когда мой племянник Ваня, сын моей сестры Нелли, привез меня из аэропорта сюда, в Ермолаевский переулок, – пояснила она. – Так что в Тавельцеве парижский кофе до сих пор никто еще не попробовал.

– А что ж потом забрать не заехали? – пожал плечами Гена. – Германа Тимофеевича попросили бы, у него же тут рядом клиника.

– Я просто забыла про этот кофе. Думаю, от волнения. Я всегда волнуюсь, когда встречаюсь с родными.

– Непростая вы женщина, – покачал головой Гена. – Тяжело вам по жизни, наверное.

– Нет, что вы, – улыбнулась Мария. – Моя жизнь несколько не тяжела. Мне кажется, по сравнению с тем усилием, которое каждую минуту приходится прилагать для вашей жизни здесь, наша жизнь во Франции вообще не слишком трудна. Но, правда, может быть, все дело только в том, что для французской жизни требуется совсем другое усилие, и оно привычное для меня.

– А какое усилие? – с интересом спросил Гена.

Мария с самого начала заметила вот этот постоянный интерес к жизни, который чувствовался и во взгляде его, и в голосе, и во всем облике. И этот интерес тоже был ей приятен в нем. Ей все было приятно в нем, в едва знакомом человеке – как удивительно!

– Я затрудняюсь точно объяснить, – сказала она. – Быть может, это просто терпение. Да, наверное, это так. Мы терпимее относимся к необходимости выживать. Не боимся выживать. Не ждем, что кто-то нам поможет. Надеемся только на себя, на свою работу, на свой банк, в конце концов. Но, мне кажется, сами ситуации, в которых нам приходится проявлять это свое терпение, гораздо более предсказуемы, чем у вас.

– Да уж, что у нас тут жизнь непредсказуемая, это точно, – хмыкнул Гена. – Ну так ведь это ж хорошо. Пока молодой, во всяком случае. Как в поезде едешь – впереди все новое и новое. Интересно!

– Я и не жалуюсь, – снова улыбнулась Мария.

– Когда кофе на дачу отвезете, пригласите меня в гости. – Он улыбнулся в ответ. – Буду потом в Сибири рассказывать, что настоящий парижский кофе пил.

– Но для этого совсем не обязательно ехать в Тавельцево! – воскликнула Мария. – Ведь этот кофе здесь, всего в квартале отсюда. Мы можем просто пойти и выпить его сейчас. В квартире, конечно, есть кофеварка или что-нибудь, чтобы сварить.

Эта простая мысль почему-то так взволновала ее, что она даже стала говорить сбивчивыми, торопливыми и в то же время громоздкими, неловкими фразами.

– Получается, в гости напросился...

– Нисколько не напросились. Мне будет приятно выпить с вами кофе. Пойдемте?

Гена кивнул. Его глаза блеснули при этом, как блестят под дождем каштаны в треснувшей кожуре.

В квартире стояла та тишина, которая всегда устанавливается в необитаемом жилище. Мария знала ее по своему дому в Кань-сюр-Мер. Если она приезжала туда зимой, то в первые минуты, даже в первый час ей казалось, будто дом не только необитаемый, но даже неодушевленный.

Пакет с молотым кофе лежал в плетеной сумке, которую Мария оставила на диване в гостиной. Она собирала эту сумку прямо перед выходом из парижской квартиры – складывала в нее все, о чем вспоминала в последние минуты. И вот пожалуйста, все-таки вышла с этой сумкой неловкость, до сих пор ее содержимое не попало к тем, кому предназначалось.

Ей вдруг показалось, что она думает о каких-то глупых вещах. Вернее, сама она вдруг показалась себе глупой, а еще вернее – как-то мгновенно поглупевшей.

– Я... сварю кофе, – этим вот неожиданным в своей глупости тоном проговорила Мария.

Кофейной машины в кухне не обнаружилось. Когда она насыпала кофе в турку, у нее дрожали руки.

Парижский кофе был слишком крупного помола, чтобы варить его по-турецки.

«Как мы станем его пить? Соринки будут липнуть к губам», – подумала Мария, глядя на собирающуюся на поверхности коричневую пенку, которая в самом деле была усыпана кофейными соринками.

Гена обнял ее за плечи. Его объятие было нежным и тяжелым. И губы... Марии показалось, они оставляют у нее на коже теплые дорожки. Как улитки, которые выползают после дождя на веранду ее приморского дома. Очень нежные улитки...

– Что вы со мной, Марья Дмитриевна, делаете, а? – тихо проговорил Гена.

Они целовались, пока что-то не зашипело у них за спиной и по кухне не разнесся запах горелого кофе. Мария на мгновение оторвалась от Гениных губ и засмеялась.

– Что вы смеетесь? – спросил он, вглядываясь в ее глаза.

Его глаза были так близко, что в них хотелось окунуться, как в темные, с торфяной водой лесные озера. Когда Мария была маленькая, папа рассказывал ей про такие загадочные озера, которыми полны русские леса.

– Ничего, – сказала она, проводя ладонью по Гениной щеке. – Просто мы целовались и не заметили, как кофе убежал... Классическая любовь!

Глава 7

«Я впервые потеряла голову. И впервые счастлива. Оказывается, это так и должно быть. Как жаль, что я до сих пор об этом не догадывалась!»

Впрочем, как она могла бы догадаться об этом раньше? Для того чтобы это стало очевидным, нужен был он. То, что она испытывала теперь, было не счастьем вообще – все было связано именно с ним и только с ним вошло в ее жизнь.

– Знаешь, ведь я этого, наверное, просто боялась.

– Чего – этого?

Гена спросил не открывая глаз. Марии на секунду стало жаль, что он не открывает глаз, потому что его глаза нравились ей до замирания сердца.

– Вероятно, непредсказуемости, – сказала она. – Да, наверное. Непредсказуемости жизни. Я это понимаю, потому что привыкла осознавать свои чувства.

Это она объяснила со слегка оправдывающейся интонацией, хотя никогда прежде способность осознавать свои чувства не казалась ей предосудительной или хотя бы странной.

– А теперь не боишься?

Гена открыл глаза и искоса посмотрел на нее. Его голова так глубоко была погружена в подушку, что его взгляд был Марии еле виден. Но любовь все равно была в его взгляде явственна, ее ни с чем нельзя было перепутать.

– Теперь я об этом не думаю. Я вообще мало стала думать! – засмеялась она. – Вернее, о малом. А еще вернее – о главном. Ты знаешь, мир как будто бы прояснился вокруг меня. Из него ушло множество ненужных подробностей, он перестал дробиться на мелочи. Он весь стал состоять из очень крупных вещей.

Гена повернулся к Марии и, быстро притянув к себе ее голову, поцеловал в губы. Это не могло быть простой телесной страстью, потому что она, простая и телесная, только что была ими удовлетворена. А значит, это была любовь – та же, такая же, какую чувствовала сейчас и Мария.

– Ну что, встаем? – сказал Гена. – Белый день на дворе.

И, не дожидаясь ее ответа, сел на кровати и сразу же встал, подошел к окну, разбросал в стороны тяжелые шторы. Все это он сделал единым движением, сильным и вольным; Мария залюбовалась им.

Тело у него было тяжеловатое, может быть, даже грузное, но эта грузность несколько не мешала ему двигаться легко, грациозно. Это в самом деле была грация сибирского медведя, во всяком случае, такое сравнение, пришедшее Марии в голову в первую же минуту, когда она увидела Гену, и теперь казалось ей точным.

Снежинки кружились за окном, прилипали к стеклу, отшатывались, взмывали вверх и снова исчезали в сером небе. Мария следила за ними как замороженная, потому что на их живом, подвижном фоне стоял перед нею Гена.

– Мы поедем сегодня в Тавельцево? – спросила она.

– Как хочешь.

– Я не была там неделю. Но не хочу.

– Значит, не поедем.

– Может быть, Таня обижена на меня. За эту неделю были дни, когда я забывала ей даже позвонить.

Мария почувствовала, что у нее порозовели щеки, – она вспомнила, что это были за дни, как они их проводили...

Наверное, Гена тоже это вспомнил – он шагнул к кровати и вдруг быстро нырнул к Марии под одеяло. Она не ожидала этого и тихонько ахнула.

– Я ненадолго, не бойся, – шепнул он ей на ухо. – Поласкаю только.

Его ласки отличались от всех, какие она знала до сих пор. У нее не было мужа, но, конечно, были мужчины, которым она в разные годы отдавала часть своей жизни. Все они были утонченными людьми – других она не могла представить рядом с собой, – и утонченность в постели была ей так же необходима, как вечером в ресторане, куда заходили после премьеры в «Одеоне», пили шампанское, говорили о спектакле... У нее были прекрасные любовники, она не была обойдена мужскими ласками.

Но когда Гена развернул Марию к себе лицом, он сразу же положил ее на спину снова, подтянулся на ней повыше, всю ее накрыл собою... Она не смогла сдержать вскрик – ее тело наполнилось его силой, и наполнилось в одно мгновение, как будто он не накрыл ее собою, а ударил.

Все у нее внутри билось и вспыхивало, взлетало к горлу, туманило голову, да была ли у нее в эти минуты голова, что это вообще такое, зачем?..

Потом она почувствовала, что он опускается пониже, и не просто опускается, а одновременно становится частью ее – всего ее тела.

Да, они соединялись телами, конечно, это было так, конечно, хотя в реальности, наверное, это выглядело обыкновенно – мужчина и женщина сотрясаются в размеренных и одновременно лихорадочных, страстных движениях, и ходит над ними ходуном одеяло. Но не все ли равно, как это выглядит в какой-то там реальности, что это такое, реальность, да нет же ее и не было никогда!..

– Ну, Марья Дмитриевна!

Гена наконец сбросил одеяло, откатился в сторону и, взглянув на нее с другого края кровати, покрутил головой.

– Что?

Ей хотелось смеяться. Ей было так легко, так хорошо – ни на что другое она не была сейчас способна. Она и засмеялась, беспечно, как девчонка.

– Синяков тебе наставил, вот что! – Он засмеялся тоже. Они были счастливы одинаково. – Глянь-ка – и вот, и вот, и вот тут еще, на груди...

Мария скосила взгляд – никаких синяков у нее на груди не было. Она видела только его пальцы, короткие, широкие, сильные. В нем вообще было много силы, которая чудесным образом скрывалась за его обаянием. Еще ей почему-то казалось, что в нем немало наивности. Конечно, она не могла знать это наверняка, но ощущение было именно такое. Как много ей еще предстояло узнать о нем, и как же это было прекрасно!

– Ничего, – сказала она. – Если будут синяки, это ничего. – И добавила без всякой связи с предыдущими словами: – Я никогда не видела таких мужчин, как ты.

– Каких – таких?

– С такими... сочетаниями разных качеств. Даже мой папа, самый необыкновенный мужчина, которого я видела в жизни, был очень... как сказать... Однообразен? Нет, конечно, нет! Един? Да, наверное – един во всех своих проявлениях. А ты то такой, то совсем другой, и все равно это ты.

– Это мне не очень понятно, Марья. – Виноватое выражение мелькнуло в его каштановых глазах. – Потом я тебя понимать научусь. Уже в Париже, наверное. А пока люблюсь только.

Утонченности в нем не было совсем. Но его комплименты – вернее, те слова, которыми он заменял комплименты, – по сути своей были утонченны безусловно.

Им захотелось есть одновременно, и они стали одеваться, болтая.

– Ты отца-то хорошо помнишь? – спросил Гена, подавая Марии ее халат, который она не могла найти и который, оказывается, соскользнул за кровать.

– Конечно. Мне было пятнадцать лет, когда он умер. В его сознании, в его мире прошло все мое детство, началась моя юность. Я очень сильно его помню.

– Он ведь врачом работал?

– Да. Когда он был моложе, то оперировал. Но с возрастом, конечно, перестал.

– Почему – конечно?

– Потому что это было бы безответственно, оперировать, уже не имея необходимой реакции. Он консультировал в клинике. И говорил: это даже хорошо, что стало меньше работы – наконец у него появилось время на жизнь. На маму, на меня.

– У них же с мамой с твоей разница в годах большая была? – спросил Гена, завязывая пояс на своем длинном махровом халате.

– Тридцать лет.

– Ого! Последняя любовь?

– Нет.

– Не последняя? – засмеялся Гена.

– Не любовь. Мне кажется, их связывала не любовь.

– А что же?

Он посмотрел удивленно. Мария пожала плечами.

– Забота. Долг. Это с его стороны. А с маминой – восхищение. Она была из семьи католиков-аристократов, но, мне кажется, даже к Богу мама не относилась с таким благоговением, как к папе.

– Однако! – покрутил головой Гена. – Станный у них был брак. Извини, конечно, дело это не мое.

– Тебе не за что извиняться. В самом деле странный. Мама однажды сказала мне, что всю свою любовь папа отдал своей первой семье, вот этой, которая осталась в России. Но даже то, что досталось нам, это очень много, так она сказала.

Да, именно так. Мария ясно помнила тот день, когда это было сказано.

Глава 8

Мама остановила машину у садовой стены и потянулась. В плечах у нее при этом что-то тоненько хрустнуло, и она засмеялась.

– Становлюсь старой, – сказала мама. – А была уверена, что со мной этого не произойдет никогда.

– Ты не становишься старой, тебе еще только тридцать пять лет, – рассудительным тоном заметила Мари. И тут же с любопытством спросила: – А почему ты была уверена, что не сделаешься старой?

– Потому что твой отец всегда относился ко мне как к ребенку. И до сих пор так относится. Ну, если не совсем как к ребенку, то все-таки как к очень юному существу. Хотя дочке, которую я ему родила, завтра исполняется десять лет.

Дочка, которой завтра исполнялось десять лет, зажмурилась от удовольствия. День рождения у Мари был в мае. В этом году Пасха наступила поздно, поэтому он совпал с пасхальными каникулами, и его решили отпраздновать здесь, в Кань-сюр-Мер.

Узнав об этом, Мари обрадовалась невероятно. Нигде она не видела такой яркой весны! Глициния перевешивалась через садовую стену лиловыми, розовыми, белыми шапками, а бугенвиллеи казались разноцветным салютом, который взвился в воздух и каким-то непонятным образом остался висеть у людей над головами.

Мама стала вынимать из машины пакеты и коробки с продуктами. Она собиралась приготовить все сегодня, чтобы завтра, когда папа приедет утренним поездом, сразу сесть за праздничный стол.

– Открывай пока двери, – сказала она, протягивая дочери ключи.

Мари вставила самый большой ключ в замок тяжелой деревянной калитки. Ключ не хотел поворачиваться – возможно, заржавел за то время, что они не были здесь.

Мари обернулась, чтобы спросить маму, не надо ли чем-нибудь смазать замок. Мама как раз закрывала багажник «Ситроена», но Мари успела заметить в глубине багажника еще одну коробку, самую большую; ее мама почему-то не вынула. Прежде чем крышка багажника опустилась, Мари разглядела на коробке эмблему магазина из пассажа Гревен, и сердце у нее забилось так быстро, что даже дыхание занялось. Конечно, это кукольный дом!

С месяц тому назад, когда они с мамой гуляли по Большим Бульварам, их застиг дождь, и они забежали в этот пассаж. И вот там-то, в витрине под сводами галереи, прямо напротив входа в музей восковых фигур, Мари увидела это чудо.

Передней стены в кукольном доме не было, и можно было рассмотреть оба его этажа. На первом располагалась гостиная с крошечным камином, который, не исключено, можно было даже топить – во всяком случае, выглядел он совершенно настоящим. Миниатюрная мебель в гостиной была сделана из розового дерева, диван обит золотым шелком, а на окнах этой удивительной комнаты висели шторы с золотистыми кистями. На втором этаже была спальня с кроватью, застеленной голубым кружевным покрывалом. И зеркало в этой спальне было, и стояли перед ним на туалетном столике всевозможные флаконы и коробочки, а в один флакон, который едва можно было разглядеть, было даже что-то налито, наверное, духи...

Мари тогда напрочь забыла, что ей скоро исполнится десять лет, что она уже взрослая, ходит в лицей, читает Мопассана и обсуждает потом с папой, почему у Жанны де Во оказалась такая скучная жизнь... Красота этого кукольного дома завороживала ее совершенно, как маленькую девочку! И чтобы уж совсем ее ошеломить, в той же витрине пассажа были выставлены куклы, для которых дом и предназначался, – маленькие принцессы с золотыми волосами.

Она тогда стояла перед витриной так, словно остолбенела. А сейчас, при мысли о том, что этот дом может принадлежать ей, Мари вообще чуть сознания не лишилась.

– Что там? – спросила мама, захлопывая багажник. – Не открывается?

Она взяла в каждую руку по пакету и подошла к калитке.

– Д-да... Кажется... – пробормотала Мари.

Мама поставила пакеты на мостовую и, взяв у дочки ключ, отперла замок. За те несколько секунд, которые ей для этого понадобились, Мари успела прийти в себя.

– У тебя всегда получается! – сказала она. – А у меня этот замок никогда не открывается с первого раза. Почему?

– Потому что я здесь выросла, – улыбнулась мама. – Это ты у нас парижанка, а для меня Париж до восемнадцати лет был городом вавилонского столпотворения.

Историю о том, что произошло, когда маме, то есть тогда еще не маме, исполнилось восемнадцать лет, Мари знала с детства. Папа, то есть тогда еще тоже не папа, конечно, – приехал в Кань-сюр-Мер зимой, в межсезонье, и хозяйка пансиона, где он остановился, сказала ему, что девочка из дома напротив недавно похоронила родителей, и вот уже неделю никуда не выходит, и хотя на встревоженные расспросы соседей отвечает, что все у нее хорошо, но они же понимают, что это не так.

У Мари было живое воображение, и она с ужасом представляла, какое одиночество и отчаяние чувствовала восемнадцатилетняя Моник де Ламар в по-зимнему безлюдном приморском городке, в сплошной промозглой стылости старых каменных стен, вдобавок больная – у нее уже начался тяжелый бронхит, – и какое чувство охватило ее, когда отец встал на пороге этого дома и спросил: «Не могу ли я вам помочь, мадемуазель? Я врач, а вы, мне кажется, не совсем здоровы».

Папа всегда сразу понимал, что кому-то плохо. И одновременно с этим пониманием, если еще даже не раньше, думал, чем может помочь. Да, конечно, он был врачом, но дело было даже не в этом. Мари охватывала гордость, когда она думала о нем. Таких, как ее папа, больше нет на свете!

– Возьми пакеты, Мари, – сказала мама, открывая калитку. – И поторопись, если хочешь, чтобы я успела испечь торт.

Конечно, Мари этого хотела. Но история про мамино знакомство с папой вспомнилась ей так ярко, когда они вошли в этот дом – в тот самый дом, – что она спросила:

– Мама, а папа сразу в тебя влюбился? С первого взгляда?

Мама остановилась. Мари на секунду показалось, что она вздрогнула. Правда, когда мама заговорила, ее голос прозвучал ровно, но Мари была проницательна, и ее трудно было обмануть.

– Я не думаю, что бывает любовь с первого взгляда, – сказала мама. – И потом, я в тот вечер была жутко больна, у меня распух нос, слезились глаза, и я видела все вокруг очень смутно. А спрашивать потом у мужа, с какого взгляда он в меня влюбился, – согласишься, дорогая, это было бы глупо.

«Она не хочет мне что-то говорить, – подумала Мари. – Но почему?»

Впрочем, выспрашивать у мамы то, что она не хотела рассказывать сама, Мари не стала. Она с раннего детства знала, что делать это нельзя. А сейчас, когда она выросла настолько, что начала осознавать свое поведение, словно бы со стороны себя видеть ясным и здравым взглядом, – ей стало казаться, что такая вот сдержанность была в ней не то что с детства, а еще даже и раньше; вероятно, она с этим родилась.

Они прошли через небольшой, вымощенный каменными плитами внутренний дворик. Плитам было столько же лет, сколько и дому – четыреста. Они блестели, словно отполированные, и во время дождя по ним можно было скользить, как по льду. Мари частенько так и делала, это было очень весело.

Мадам Бежар, соседка, исправно поливала цветы, и они встречали теперь хозяев веселыми взглядами. Да, Мари всегда казалось, что цветы не просто растут в каменных вазах или в подвесных кашпо, а смотрят на людей и что-то о них думают, оценивают их поступки. Она додумалась до этого сама, после того как мама сказала ей, что Бог видит все, что делают люди! Ведь, чтобы видеть, надо же ему откуда-то на людей смотреть? Вот он и смотрит из цветов, они – как будто его глаза. А ночью, может быть, он смотрит из звезд, а зимой из снежинок. Да мало ли откуда он может смотреть – отовсюду!

Мама открыла входную дверь, и они вошли в дом. Пока мама возвращалась за оставшимися у калитки свертками и пакетами, Мари привыкала к дому. Это всегда бывало так, когда они приезжали из Парижа в Кань-сюр-Мер, и ей было понятно, почему: дом ведь тоже живой, как и цветы, а значит, без людей он жил своей отдельной жизнью, к которой им теперь следует привыкнуть.

Впрочем, на этот раз времени на такие вот неясные размышления не было. Мама сразу принялась готовить, а Мари – помогать ей. По дороге они остановились на площади, где по утрам всегда бывал рынок, и купили зелень; ее Мари и мыла теперь в большом сите.

Мама тем временем сбивала в фаянсовой миске яичные желтки и сахар для торта. А в углу кухни стояла еще одна миска – с серебристыми сардинками. Старый месье Кристоф принес их сразу, как только увидел, что ставни дома уже открыты.

Мамина семья покупала у него свежую рыбу, еще когда и мама была ребенком, и месье Кристоф – самым молодым рыбаком в Кань-сюр-Мер.

Сардинки предстояло почистить и приготовить. А готовить так быстро и легко, как мама, Мари не умела, поэтому она полностью погружена была в свое занятие – в мытье салатных листьев.

– Я не хотела бы, чтобы у тебя внутри оставалось что-то невысказанное, – вдруг сказала мама. – Не стоит держать в себе вопросы, лучше задать их прямо.

– Какие вопросы? – спросила Мари. Но тут же поняла, что глупо делать вид, будто она не понимает, что мама имеет в виду, и проговорила: – Да, я не решалась...

– Ну так решишь. О чем ты хотела меня спросить?

Мама смотрела на нее своим прямым внимательным взглядом. Мари любила этот взгляд – он казался ей не просто внимательным, а еще и очень красивым. Она вообще любила маму и гордилась, когда кто-нибудь говорил, что они похожи. Этого невозможно не заметить! Мама брюнетка с серыми глазами, и Мари тоже. И может быть, когда Мари вырастет, то научится делать все не медленно и рассеянно, как сейчас, а так же быстро и элегантно, как мама. Ну конечно, она научится не быть рассеянной, ведь мама наделила ее ясностью разума.

Это папа так про них с мамой говорит, а значит, так оно и есть, потому что папа умнее всех на свете.

Впрочем, что это такое, ясность разума, Мари понимала не очень. Разве разум может быть каким-то другим, а не ясным?

– Так о чем? – повторила мама.

Наверное, ей показалось, что Мари все еще не решается спросить. Но это было совсем не так.

– Я хотела узнать, почему ты думаешь, что папа не влюбился в тебя с первого взгляда, – сказала Мари. – Знаешь, мама, мне показалось, что ты думаешь, будто он вообще в тебя не влюблялся. Мне показалось или ты правда так думаешь?

– Я правда так думаю, – сказала мама.

Мари оторопела. Она ожидала, что мама возразит ей, может быть, даже рассмеется, скажет, что у нее в голове, как обычно, крутятся странные фантазии. И вдруг – такой ответ...

– Но, может быть, тебе просто показалось? – пробормотала Мари.

И сразу же поняла, что это глупое предположение. Мама и папа женаты уже семнадцать лет – Мари родилась у них не сразу. И, конечно, они знают друг друга даже лучше, чем каждый из них знает самого себя.

Впрочем, и свою дочь мама знала не хуже, чем себя.

– Ты разумная девочка, Мари, – сказала она. – Мне кажется, ты не из тех, кто не решается увидеть очевидное из-за страха перед жизнью.

– У меня нет страха перед жизнью, – кивнула Мари.

– Вот именно. Поэтому я думаю, что ты правильно меня поймешь. Когда мы познакомились с твоим папой, он был погружен в глубокое горе. Его русская семья, жена и дочь, остались в СССР, и он не знал даже, живы ли они, но понимал, что, во всяком случае, никогда их не увидит.

Конечно, Мари знала, что у папы в молодости была другая семья и что она осталась в России. Но почему так получилось, папа никогда не говорил, и она не расспрашивала об этом ни его, ни маму. Может быть, потому, что та его русская дочка была теперь даже не просто большая, а совсем взрослая – однажды Мари высчитала, что ей должно быть уже больше тридцати лет, – и эта разница между ними казалась ей не просто разницей в годах, а настоящей пропастью. Да и Россия была чем-то вроде другой планеты... В общем, она никогда не думала, что на отношения ее родителей как-нибудь влияет папина прежняя русская семья.

– И вот в этом состоянии глубокого горя, – продолжала мама, – он познакомился со мной. А я до знакомства с ним была просто наивная девочка, которая с рождения считала, что мир устроен исключительно разумно и оптимистично, и которую даже война в этом не разубедила. И вдруг эта девочка осталась одна, потому что ее родители умерли, будто в страшной сказке, в один день. Они умерли от пневмонии, – напомнила мама.

– Я знаю, – кивнула Мари.

– Одним словом, я была растеряна и подавлена, и папа сразу это почувствовал.

– Ты думаешь, что он только пожалел тебя, а не полюбил? – спросила Мари.

– Не только. Конечно, он умеет сочувствовать, как немногие умеют. Но по отношению ко мне тогдашней... Он почувствовал, что я так же одинока, как он, в этом было все дело. Да, у меня остались родственники, но это была всего лишь дальняя родня из двух семейств, к которым принадлежали мои покойные родители, и дальняя не столько даже по крови, сколько по душе. Никого близкого у меня не осталось, и когда я это осознала, то меня охватило такое отчаяние, словно вместо сердца у меня в груди пропасть. И точно такая же пропасть была в груди у него. Вот и все. – Мама улыбнулась. – Когда он сказал мне, что если бы мог пойти со мной к алтарю, то сделал бы это, – был вечер, я только что поправилась после бронхита, мы впервые вышли прогуляться вдвоем к пирсу, – я не знала, что на это ответить.

– Почему? – спросила Мари. – Потому что хотела непременно пойти к алтарю?

Несмотря на потрясение, которое вызвали в ее душе мамины слова, она спросила об этом с любопытством. Как интересна, оказывается, была жизнь ее родителей! А ей-то казалось, что у них все обыкновенно...

– Не только поэтому, – ответила мама. – Я ничего тогда не понимала в жизни, и мне казалось, что людей может соединить только неземная любовь, а если такой любви нет, то им не надо быть вместе.

– Но разве это не так?

Сама Мари думала именно так, и ей было непонятно, почему сейчас мама говорит о себе тогдашней с почти снисходительной улыбкой.

– Ты думаешь точно так же, как я тогда. – Все-таки мама угадывала ее мысли без усилия, хотя все школьные подружки говорили, что по лицу Мари невозможно догадаться, что у нее в голове. – Видно, так и должна думать девочка. Что ж, надеюсь, жизнь у тебя сло-

жится не менее счастливо, чем она сложилась у меня. Нет, моя дорогая, не только неземная любовь соединяет людей на земле. Если они чувствуют, что вместе им по каким бы то ни было причинам лучше, чем порознь, то это немало. Очень немало! Именно это я и поняла в ту ночь, которую провела в раздумьях. Я знала, что твой отец вряд ли влюблен в меня, хотя бы потому, что пора его сильных чувств прошла. И не знала, влюблена ли в него сама. Я была тогда слишком подавлена одиночеством, чтобы переживать такое романтическое чувство, как влюбленность. И никогда оно не связывалось в моем сознании с таким взрослым мужчиной, как он. Да что там взрослым – он казался мне тогда просто старым! Я ведь была обыкновенной веселой девчонкой и в качестве объекта для влюбленности могла себе представить только мальчишку-одноклассника, но никак не ровесника своего покойного отца.

– Тогда почему ты уехала с ним в Париж? – затаив дыхание спросила Мари.

Почему в Париж – это было ей вообще-то понятно: в таком маленьком городке, как Кань-сюр-Мер, на такую семью, как у ее родителей, даже и сейчас смотрели бы косо, а двадцать с лишним лет назад... Трудно представить, что мама с папой смогли бы здесь остаться.

– Не знаю. – Мама развела руками. – Наверное, Бог меня направил, другого объяснения у меня нет. Утром твой папа зашел ко мне проститься за час до поезда. И я сказала, что готова поехать с ним.

– Но как же вы успели на поезд? – спросила Мари. – Ведь ты должна была собрать вещи!

И сразу же поняла глупость своих слов. Мама улыбнулась.

– Мы уехали вечерним поездом, – сказала она. – А днем я пошла к кюре, чтобы спросить его совета.

– А папа? – спросила Мари. – Он пошел с тобой? Но ведь он же совсем не ходит в церковь.

– Да, его отношение к церкви выглядит в моих глазах сложно, хотя я знаю, что в Бога он, как бы там ни было, верит. Но все-таки к кюре я пошла одна.

– А о чем ты хотела его спросить?

– Я хотела... Ведь мы не могли обвенчаться и не могли даже заключить брак в мэрии, потому что твой отец был обвенчан со своей первой женой. Он ничего не знал о ее судьбе, и по всем законам, божьим и человеческим, это означало, что он женат. Поэтому я не понимала, чем будет моя жизнь с мужем, и будет ли он мне мужем вообще. Мне необходимо было знать, что такое будет наш брак перед Богом. Кюре был тогда у нас в Кань-сюр-Мер совсем старенький, он венчал еще моих родителей и крестил меня.

– И он разрешил тебе уехать с папой?

– Он знал меня с рождения, знал мой характер, воспитание. И сказал: поступай, как велит тебе сердце и разум, Моник. Такая девушка, как ты, может положиться на свое сердце и на свой разум. И мне сразу стало легко – там, в моем сердце, – и разуму моему легко стало тоже. – Мама улыбнулась. – Твой отец, то есть твой будущий отец, думал, что я хочу белое платье, флердоранж – все, что хотят юные девушки, когда выходят замуж. Но дело было не в этом, о флердоранже я совсем не думала. Если бы кто-нибудь сказал мне за год до того, что для меня все это ничего не будет значить, то я не поверила бы. Но когда я встретила твоего отца... Мне стало казаться: если моя судьба складывается странно, то ничего такого, что принято, уже и не нужно – счастье тоже придет ко мне странным путем. Я сама не очень понимала, почему так думаю, ведь я выросла в очень религиозной семье... Но оказалось, что я думала правильно: счастье пришло.

– А когда ты это поняла – что оно пришло? – спросила Мари. – Когда вы сели в поезд? Мама рассмеялась.

– Нет, конечно, нет, – сказала она, вытирая слезинку, которая от смеха потекла у нее по щеке. Руки у нее были в муке, и на лице осталась белая дорожка. – Когда мы сели в поезд,

я почувствовала только растерянность и почти что ужас. Я не понимала, куда еду, зачем. В Париж, с совершенно чужим человеком... И муж он мне или все-таки не муж? И может быть, он сам уже жалеет о своем опрометчивом поступке и скажет мне об этом прямо на вокзале, как только мы приедем в Париж? Ужас, ужас!

Она махнула рукой, подняв мучное облачко, и снова засмеялась.

– Но как же?.. Как же ты это выдержала?

– Мне не пришлось ничего выдерживать. За окном была ночь, поезд шел вдоль моря, и мне казалось, я слышу, как оно ревет в темноте, ведь была зима... А здесь, в вагоне, горел тихий свет, колеса тоже постукивали тихо, проводник принес чай, поставил на столик, и на скатерти заплясало золотое пятно, а рядом он положил вечернюю газету...

– И тебе стало спокойно, да? – догадалась Мари.

– Нет, совсем другое. Я перевела взгляд с этого золотого пятна на лицо твоего отца и поняла, какая тоска у него в сердце. Просто неизбывная тоска! Вот в ту минуту со мной что-то произошло. Я перестала думать о себе и стала думать о нем. Я словно бы увидела то же, что видит он, и то же почувствовала: сплошная тьма кругом, одиночество подступает к горлу, а рядом только глупая девочка, которая занята только своими наивными мыслями...

– И... что?.. – снова спросила Мари.

Не спросила даже, а выдохнула.

– И все сразу встало на свои места. Я поняла, зачем моя жизнь. Никогда со мной больше такого не было, поэтому я запомнила ту минуту. Нет, это не произошло так логично – я не то чтобы поняла цель своей жизни. Но вся она, вся жизнь как есть, встала передо мной. Мне показались смешны мои детские сомнения. И еще я почему-то вспомнила войну. То утро, когда я, совсем ребенок, сидела на подоконнике вот в этом доме, на втором этаже, и смотрела в окно, как в город входят немцы. Они шли по набережной молодцевато, эффектно и выглядели красиво, как выглядят все офицеры, во всяком случае, в глазах девчонок. И тут моя мама тоже подошла к окну и увидела, на кого я смотрю и каким взглядом. Она схватила меня за руку, стащила с подоконника и дала мне пощечину. Это случилось впервые в моей жизни, и больше такого не бывало. Ее глаза горели гневом, и она сказала: «Как ты смеешь ими любоваться?! Тебе нравится их форма, их молодцеватость? А ты знаешь, что они убили всю семью на ферме Тибо, всех детей, и даже самого маленького, Анри, ему было восемь месяцев, и они убили всех только за то, что у них мама еврейка? Ни один порядочный человек не может любоваться убийцами!» Меня охватило такое отвращение к себе, что я разрыдалась. Мама задернула шторы так резко, что оторвалось несколько петель, и, ни слова ни говоря, вышла из комнаты. – Она помолчала, потом сказала тихо: – Я не знаю, почему вспомнила все это в ту минуту, когда увидела жизнь глазами моего мужа, там, в вагоне. Может быть, потому что он тоже воевал – он рассказывал мне об этом... Нет, вряд ли в этом было дело. – Она отрицательно покачала головой. – Просто я поняла, что все это – тот гнев в сердце моей матери и вот эта тоска в сердце моего мужа, – это очень сильно. А то, что чувствую я, все мои полудетские страхи, – ничего по сравнению с этой силой не значит. Я села рядом с моим мужем и положила голову ему на плечо. Он обнял меня. Мы молчали. Поезд шел в темноте вдоль моря. – Мама наконец перестала вглядываться в то невидимое, что стояло сейчас перед ее глазами яснее, чем связки сухих трав на стене кухни, перевела взгляд на Мари и улыбнулась. – Ну-ну, – сказала она, – я тебя, кажется, напугала. Но ничего страшного не было! Потом, когда мы приехали в Париж и началась наша семейная жизнь, все оказалось чудесно. Я поняла, как хорошо иметь мужа, которого не надо вести по жизни, наоборот, он сам помогает тебе в этой жизни освоиться. И к тому же оказалось, что юная девочка с ее неопытностью и не слишком молодой опытный мужчина в определенном смысле очень подходят друг другу. – Мама вдруг смутилась и поспешно произнесла: – Ах, это тебе не надо!..

– Что – не надо? – воскликнула Мари. – Мама, ну расскажи мне! Ну почему ты не хочешь сказать?!

– Нет-нет. – Мари показалось, что вид у мамы стал смущенный. Но почему? – Нет-нет, – повторила она, – тебе еще не обязательно это знать. Во всяком случае, я не могу обсуждать это с десятилетней дочерью. Я думаю, тебе достаточно понимать, что наша с твоим отцом жизнь с самого начала стала... Ну, скажем, гармоничной во всех отношениях. А теперь возьми шампиньоны и вымой их хорошенько. Мы сделаем из них белый соус к цыпленку.

Уже вечером, когда мама поднялась в комнату дочери, чтобы поцеловать ее на ночь – это была та самая комната, в окно которой маленькая Моник де Ламар смотрела, как немцы входят в ее родной город, – Мари спросила:

– Мама, а как ты думаешь, у папы нет сейчас тоски в сердце?

– Такой глубокой, какая была тогда, я думаю, нет, – ответила мама. – Все-таки у него теперь есть мы с тобой, это кое-что да значит. Но никто не может сказать наверняка, что он знает сердце другого человека, даже очень близкого. Особенно если это русское сердце. Русское сердце, русский ум – мне всегда казалось, это что-то такое, что невозможно узнать до конца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.